

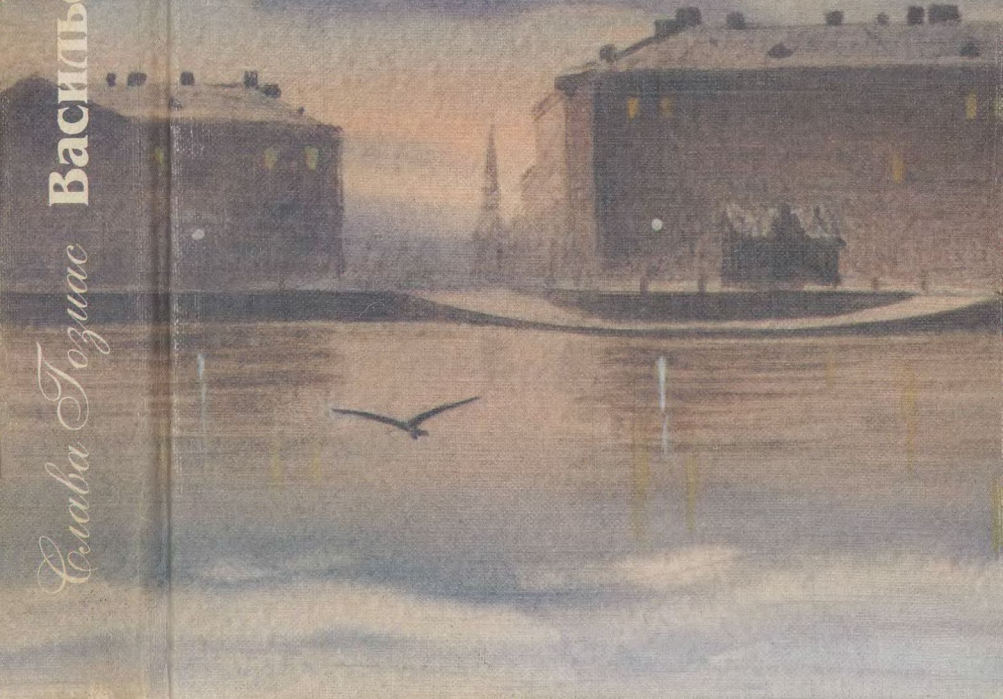
Слава Тогуас  
Васильевский остров

Слава Тогуас

*Слава Тогуас*

# Васильевский остров

*Рассказы*



*Слава Тошас*

# Васильевский остров

---

*Рассказы*

Санкт-Петербург  
Издательство  
писателей  
«ДУМА»  
2003

84P7

Г57

Редактор А. Г. Казакова

ISBN 5-901800-37-0

© С. Гозиас, текст, 2003

© П. Л. Парамонов, оформление, 2003



## ТРИПОЗНОЕ СОСТОЯНИЕ

**В** сентябре, в разгар бабьего лета, я люблю скрываться от городского шума и пыльной сутолоки улиц на небольшом кладбище, прозванном «Немецкое», со склепами, похожими на готические часовенки, с тяжелыми могильными плитами из полированного мрамора, с готической прописью под массивными гранитными и железными крестами, с разровненными холмиками и раздробленными раковинами могил последней войны, черепки которых заросли травой и захламились прелой черной листвою. Очень редко там попадаются могилки с утоптанymi тропинками вок-

руг, припудренными мелким красным песком, на которых из пучков аютиных глазок торчат фанерки с чернильной надписью: “Могила охраняется”. От этих аккуратно прибранных холмиков, от цветов и от табличек веет старушечьей чопорностью, и именно у этих могил смерть кажется настолько реальной, что ощущение жизни сжимается до страха, а безначальный поток времени угнетает с такой силой, что само существование растений и животных кажется сомнительным.

Такие могилы я обхожу стороной.

Я люблю приходить на кладбище к вечеру и смотреть, как солнечный свет пятнами лезет с порыжелой травы на стволы кленов и берез, как эти желтые пятна вползают до самых крон и осенняя листва загорается латунным холодным пожаром. Хорошо дышать чуть сладковатым густым кладбищенским воздухом, и очень приятно чувствовать себя существом, которому само солнце показывает неповторимые простые чудеса красоты и покоя. Хорошо, что на кладбище мне никто не мешает быть одиноким. Хорошо оказаться как бы за прозрачной стеной жизни, в объеме памяти и предчувствий, откуда видно прошлое. Я обычно сажусь где-нибудь в укромном месте, пристраиваюсь поудобней и смотрю, смотрю...

1

В тот вечер не удалось найти удобной скамейки, зато мне приглянулось одно покосившееся гранитное надгробие – подобие кресла, спинкой которому служил

ствол толстого старого клена. Правда, мне говорили, что осенью нельзя сидеть на камнях – это, как дважды два, схватить насморк или застудить поясницу, но кресло было так располагающе, что чувства самосохранения просто не возникло.

В этом гранитном кресле я просидел часа два без движения, спокойно разглядывая голубой и глубокий меркнувший колодец вдоль ствола клена, который проходил сквозь багряную крону до самых облаков. Облака были легкими и далекими, но вдруг вспыхнули малиновым цветом заката, отчего труба колодца потемнела. Тут я ощутил частые удары крови в висках и легкую резь в переносице – внутри.

«Простудился, – мелькнула первая испуганная мысль, – не поверил знающим людям. Говорили же, что после Ильина дня земля опасна босым ногам и заднице, так нет же – уселся! Теперь сморкайся в рукав, лечись, как припадочный. Из комнаты носа не высунешь... Однако есть возможность проверить народные рецепты... Заварю чаю с сухой малиной или водки с медом выпью... Любопытно...»

Когда выходил с кладбища, тело было деревянным, а голова качалась, как большой лист лопуха. Сплошная вечерняя тень уже накрыла улицы и дома, только под самым козырьком крыши на противоположной стороне за Смоленкой-рекой горели окна верхнего этажа, пламя их было неподвижным.

Я пришел домой и включил свет – окно моей комнаты выходит в простенок, поэтому в комнате всегда полумрак, даже ясным днем, – яркий свет лампочки резанул по глазам, я тотчас выключил свет.

Я зажмурился, спасаясь от боли, но и в темноте глазам было больно. Меня покачивало снизу, словно я стоял на шаткой палубе. Не хватало только морской болезни, так я подумал и сразу ощутил судороги в желудке. Я застонал, сжал виски в ладонях, а пальцами закрыл глаза. Потом шагнул вправо вслепую, наткнулся на оттоманку и лег не раздеваясь.

Лежа легче не стало. Первоначальную прохладу подушки сменил пронизывающий жар от затылка к ушам, к темени, к горлу. На лбу выступила испарина, а торсу с боков было холодно. Меня поташнивало, но не рвало. И знобило. Я старался вжаться в постель как можно глубже, чтобы утонуть в вате одеяла и матраса. Я натянул на голову простыню и повернулся на бок лицом к стене, чтобы стало еще темнее, если открыть глаза. Глаз я не чувствовал, они как пропали. Я потрогал веки кончиками пальцев – глаз под веками не было, пусто! Тогда я осторожно стал пихать палец под веко – куда-то в пустоту, и в то мгновение, когда палец наткнулся на непонятную преграду, меня потрянуло, словно бы от электрического разряда. В моей голове заколыхались кровавые круги.

– Что же это? – спросил я. – Как же так?

Никто не ответил.

Я стал искать глаза: ощупал подушку, пошарил под подушкой и по сторонам – пусто! Неужели глаза успели сбежать?.. Я вскочил с оттоманки на ноги и куда-то шагнул – все равно куда шагать, комната кругом моя – шагнул и треснулся о шкаф. Равновесие сохранил, но руками замахал. Потом двинул ногой – вроде бы от шкафа к столу – и оступился, зацепившись за что-то. Падая медленно – так показалось. Голова упала первой, потом плечо и грудь. Голова попала на валик оттоманки – это меня спасло.

Я встал на четвереньки и ошупью полез под простыню. Лежа я осмелел – открыл глаза и ничего не увидел, только во тьме кровавые круги вращались с замедлением, пока не превратились в сплошное красное нечто – в красный воздух, что ли. Воздух этот был тяжелым и непрозрачным, им было трудно дышать.

Хотелось привыкнуть к красному воздуху и, кажется, это красное не возражало. Мне почудилось, что я вижу свое живое тело, которое спит.

Словно бы спит. Словно бы видит сны.

Я увидел себя слепцом – лицо поднято кверху, на глазах черная перевязь. Тросточка стучит по обочине – ведет по панели. Уши мои слышат. На человеческий голос поднимается моя рука, быстро и трепетно бегут мои пальцы по встречному лицу – узнают, знакомятся, постигают, и лишь после этого рука тянется зажатием. Сотни запахов, давно забытых и резко новых, окружили меня, окутали, завертелись, как веревочки скру-



чиваясь, и обозначили пути. По нитям запахов можно двигаться, как по аллеям в парке, – в кусты не залезешь, в мусорную урну не сунешься. Я шел по запахам, высоко поднимая колени, потому что внизу запахи ничего не очерчивали. Запахи водили меня по городу и привели к булочной – я наткнулся на волну аромата свежих батонов и протянул руку, а кто-то добрый положил мне в ладонь городскую булочку с хрустящей коркой. Потом на пути встал пивной ларек – ошибиться было невозможно! – запах нарисовал пивные бочки за тыльной стороной ларька, бочки были мокрыми и заплесневелыми, у бочек стлалась лужа. Чья-то рука, пропахшая воблой, поднесла к моим губам кружку пива – я хлебнул «жигулевского»...

Потом я узнал свое тело сверху – оно было в моей комнате на оттоманке, оно трудно дышало, веки были плотно сжаты, а на губах блестел след пива, которым угостила меня рука, пахнувшая воблой. Что было раньше, во что превращалось настоящее, куда влекло будущее – все перепуталось. Время отступило. Было мое сознание – и только. Мгла перестала краснеть. Тело было под наблюдением – мое – моим. Странная обрывочная жизнь разворачивалась бесцветными картинками.

В картинках был воздух, он окружал и само сознание. Тепло распалось на холод и белизну. Ноги у тела были в тепле. Что несет холод? Что дарит тепло? Память может надоумить или напомнить: холоден снег, холодна в заливе вода, белые льдины... Тепло других форм – тепло кругло, как печка, как солнце или как лез-

вие – луч... По температуре можно узнать предметы – этот, например, холодит плоско с четкими углами, как кирпич, и ровно, как промерзший насквозь. А шершавая преграда пахнет сосной и краской, у нее нейтральное тепло и неведомая участь – что это: забор? гроб? стена дровяного сарая?.. За деревянной преградой что-то гудит мертвым звуком – не пчелы, не мураши, не ветер. Что же это? Гул нарастает и затухает. Нарастая, он разгоняет человеческие голоса, а затухая, стягивает их в клубок. Все предметы звучат – все по-разному, ярче и теплее всех звуков – человеческие голоса. Никогда раньше не слышал такого разнообразия людских голосов, никогда не понимал их липкой интонации и никогда не ощущал их безмерного одиночества, даже в хоре. О, как хочет каждый голос внимания к себе! Как он воинственно безразличен к другим голосам!

Мое живое тело двигалось в мутном пространстве города и одновременно лежало на моей оттоманке. Городское тело победило – перетянуло внимание на себя, оно двигалось по волне жажды и жалости, одинокое в бесцветном, никчемном и пустое.

Я задохнулся от жалости к самому себе. Тошнота пропала совсем. Под языком ощущалась горькая слюна жалости, и я горько заплакал. Слезы побежали по щекам, скатываясь на скулы. Нос торчал вверх, его кончик был ледяным. Благодаря носу я показался сам себе покойником, а жалость по покойнику исходила горькими слезами, поэтому я заорал во весь голос. И выкричался.

В успокоенной голове мысли потекли по необычному руслу – по руслу глупости, которая свойственна заболевшим. Я задумался, куда делись мои глаза, и пришел к выводу, что они гуляют себе по улицам, развлекаются наблюдениями, им наплевать на все мое тело, так как они могут быть самостоятельными – их жизнь – видеть, что они и делают. А мне без глаз – труба! И как-то само собой состоялось, что слепец на оттоманке и попрошайка на улице есть части моего сознания, поэтому я такой и сякой и разэтакий, но я! я! я! – потерянный, брошенный, больной!

Ужас обдал меня. От ужаса поток мыслей раздвоился. Два потока побежали в разные стороны. Один поток почти и не бежал – в этом потоке текли мысли о том, что без глаз жить не ласково, что это как бы уже и не жизнь, а могила, хотя еще и не смерть. Другой поток бушевал, мысли там были короткие и вздорные или яростные: ты – идиот! псих! придурок! Возьми в помощь домового, стань призраком, превратись в привидение. Я хозяин себя! Я никто. Я дурак. Я буду колдуном! Ты будешь колуном или клоуном...

Было отрадно, что вещи отзывались мне, сумасшедшему, потому что вещи живут, как я, своим звуком, своей температурой, своим запахом и смыслом.

Как только блеснула мысль, что каждый предмет живет своим смыслом, звуком и цветом, так я сразу разглядел личные цвета у каждой вещи, если вещь была живой. Первым я увидел свое горизонтальное тело на

оттоманке в красной мути комнаты, где я был прописан постоянно. Я был у себя дома. Я еще жил, это точно. Однако мой голос звучал с потолка, как голос радиотрансляции, он осуждал голову, вдавленную в подушку, клеймил белые от ужаса глаза и расхваливал стойкость человеческого организма, который более крепок, чем вымысел о здоровье. Красный воздух дергался от звуков голоса всем объемом и не становился прозрачней.

– Не стоит труда бояться, – говорил мой голос, – потому что страх выдуман тобою. Ты прихворнул, привычное здоровье исчезло, а быть нездоровым – страшно. Попытайся понять, что всякая болезнь начинается страхом, который проходит, когда осознаешь, что одолеешь заболевание. Страх искажает представления о мире, отводит русло внимания в темные кусты опасности, и ты начинаешь дышать не так, как дышится, видеть не то, что видишь, ходить не туда, куда хочется, и просить не то, что тебе нужно. Страх ускоряет события и тормозит их. Страх держит твоё тело в некотором безразличии ко всем живым, заботясь только о тебе. Воспользуйся страхом, узнай, что случится или что случилось в том мире, откуда ты выпал в болезнь.

Хорошо помню, что губы моей головы шевелились каждым словом, которое исходило с потолка, но я не хотел ораторствовать, слова сыпались вниз помимо моей воли, а некоторые из них взлетали под потолок, меня не спросясь.

– Действие страха подобно действию иллюзии, оно оживляет окаменелые привычки, населяет ночи призраками вражды и любви, дает глазам пронзительное зрение. Мы не пользуемся страхом – мы его претерпеваем. Это и есть болезнь. Разве ж это здоровье, если человек отказывается от превосходных степеней знания ради удобного занудства и прилежного труда по привычке? Практически здоровые люди больны автоматизмом, они даже самое сокровенное у людей механизмируют в функцию производства. Разве ты знаешь о любви? Ты функционируешь – выполняешь и отрабатываешь, как программное оборудование. Завидуй тем людям, у кого страх постоянен, кто остро и ново чувствует каждый день, кто парадоксален, как гений... К сожалению, людей, живущих в чистом страхе, так же мало, как и людей бесстрашных... За это им и почет. Тебе удалось вот, да ты не знаешь, что с данностью-то делать...

Я теперь не все точно помню, что вещал голос с потолка, – все же мне было очень плохо. Лежать было неудобно – тело чувствовалось пластом, как дерн, у которого отодраны корешки от земли. Не мебель в комнате была лишней, а тело мое было инородным – чужим, может, инопланетным. Вероятно от этого и голос мой собственный слышался как бы со стороны – с потолка. Разобраться в этом положении я не умел, и не было сил для осмысления происходящего. Я в то время даже не знал, есть у меня глаза или нет. Остаток памяти подсказывал, что глаза мои сбегали, но как поверить в реальность такого?..

Каким-то образом я отвлекся от ощущений неудобств, от чувства утраты и от чужеродности обстановки и вдруг необычайно ясно увидел город. Я увидел город глазами человека, вознесшегося под облака, – я, как шахматист, видел все игровое поле и все фигуры в их тесной взаимосвязи и в коварстве возможностей. Низко над городом висела паутина из проводов, над крышами торчали антенны телевизоров, как распятыя. Между крыш лежали серые прямые улицы, по которым ползал транспорт. Люди были так мелки, что их можно было принять за мурашей. Только неподвижное зеркало воды вокруг островов было великолепно. Мне почудилось, что я могу по собственному желанию приближать взгляд к земле – увеличивать город или отстраняться ввысь к облакам настолько, что характерные черты города стирались до безличного макета. Я стал играть – приближаться к городу и отлетать от него, моя способность к уменьшению и увеличению ландшафта была несомненной.

Я застрял где-то чуть выше колокольни у церкви Смоленского кладбища. Васильевский остров был виден полностью, но как бы в нисходящей степени – убывающей к берегам Невы, а вертикально вниз было близко, словно бы на противоположной стороне улицы. С той высоты я поглядел на «Немецкое» кладбище – на густые кроны и на камни могил. Я уже готов был перевести взгляд к дому, как вдруг заметил, что вижу не только предметы – не только могилы и растения, не

только листья и увядающие цветы, но и следы людей и животных. Не вмятины в грунте от подошв или лап, а цветные следы существ, которые тут проходили, как бы отсвет их на земле, частички, вытертые от целого движением, – пыль личности, что ли.

Сперва я увидел старушку, за которой вилась, как лента, фиолетовая полоска. Лента эта стиралась на улице за оградой кладбища, но ближе к старушке эта лента насыщалась цветом, расцветала и текла, повторяя шаткие шаги ее. Потом мелькнул красно-серебристый пунктир кошки. Кошка успевала так, что сплошного следа за ней не было, – бежали пятна ее лап. Тут я догадался, что каждый человек оставляет свой след на земле и каждое животное, надо только присмотреться. Дальше подумал, что выследить человека по цветному следу, как сплунуть, а вся его подноготная – вот она, тут, в кулаке!

В секторе между следом старухи и прытью кошки я огляделся. На гнилом и щербатом столике возле могилы покоилась бутылка из-под водки и огрызок свежего огурца. Толстая оберточная бумага была скомкана, а из комка светились зеленые с желтым язычки цвета. От могилы шли кривые лилово-желтые следы сгустками и растяжкой до самой булыжной мостовой. На булыжниках перемешались многие цвета или многие следы, я их не распутывал – зачем? Я подумал вскользь, что цвет следа должен соответствовать качествам личности, и тогда мой след должен быть красивым по цвету.

Мой взгляд отыскал покосившееся надгробие, такое же, как кресло, на котором я сидел совсем недавно. Я стал приглядываться к граниту – едва заметная розовая плесень лежала на камне. Розовый цвет таял – не скоро, но постоянно, и там, где не ступала нога иного человека, розовое было еще различимо, но на дорожках, но на асфальте за забором кладбища ничего розового уже не было видно.

Обрывочные мысли замелькали в голове – о связи цветных следов с личностью – с возрастом – с умыслом – с намерениями. Мне стало жарко, словно я совершал невероятное открытие, от которого зависит вся жизнь моя и людей. Это всегда так – человека бросает то в жар, то в холод, когда он на краю пропасти, а я был даже не на краю, а на лезвии опасной бритвы – я уже решил выследить мою любовь, чтобы шутя и мимоходом удивить ее рассказом о мелочах, которыми она наследила без меня.

Начинало темнеть. След старухи развеялся за полчаса. Мой взгляд перелетел во двор дома, где проживала моя Нина. Мой взгляд заглянул в окна ее квартиры – ни на кухне, ни в комнате ее не было. Зато на кухонном столе светилась голубая лужица, голубело кухонное полотенце, у коврика в прихожей лепились голубые следы Нины. Цвет от ее матери был багровым с охрою – как стакан с водой, в котором мать Нины держала ночью фальшивые зубы. И посуда была с налетом багровой охры – Нина сама посуду не мыла.



Я заглянул в дверь парадного – по лестничной клетке расстилался голубой туман, это был свежий след моей любви.

Я помчался по следам, но на улице нить слезки обрвалась. На улице было натоптано суриком так плотно, словно это был не человеческий след, а пролитая краска. На проезжей части лежали черные полосы гари, прошитые кошачьей прытью и суровой поступью синих милиционеров, а шины автобусов стирали эти следы... Я как бы растерялся, не зная, куда применить мое волшебное зрение. «Как бы» – потому что я не терялся, потому что я твердо знал, где Нина, потому что я хранил свое знание так глубоко, закупорил его в себе так плотно и залил кислой горечью так обильно, что «забывал» о знании и забывчивостью спасал себя от неприятностей. Так со мной бывало часто...

Мое необычное виденье не хотело тайн и не мирилось с закупоркой знаний о чем бы то ни было, оно было категорично, как юнец, и дерзко, как юнец, – оно было явно умнее меня и выше – это оно вещало с потолка, оно заметило цветные следы... Я только привлек его к следствию...

Тем временем мой взгляд был уже на проспекте, уже перелетел улицу, уже дежурил у ворот небольшого сада, в котором мы так часто встречались с моей любовью. Мой взгляд стал взглядом ишейки и двигался осторожно и внимательно за отблесками голубого цвета.

За чугунной решеткой ворот голубые блики летели центральной аллеей и вдруг исчезли, только на кустах боярышника зацепился клочок голубого, вероятно, в этом месте Нина летела без следов или была перенесена на руках... Под фонарем у клумбы сопели шахматисты, склонившись над доской, как слабовидящие. Правая часть сада днем принадлежала детям и матерям, а вечером пустовала, зато в левой части под кустами были скамейки для влюбленных. Мой взгляд шел влево по кустам – по сирени и по боярышнику, на которых еще цеплялись листья. Мой взгляд двигался к той скамейке, где мы прятались от посторонних, когда наше дыхание прерывал поцелуй, а следующий поцелуй возвращал дыхание, и наши рты смеялись, и жизнь была прекрасна и непобедима.

Зачем я шел сюда? Что меня завлекало? Сколько голубых следов в городе? Сколько схожих любовей? Сколько подобных чувств? Как я не запутался в голубизне? Не знаю... Я любил Нину. Я был уверен, что и она меня любит, эта уверенность ни разу не была потревожена. Я бы продолжал размышлять о сходствах любви, но увидел четкие голубые следы на самой середине скамейки, на них натекали мутные кляксы сурика, как на панели возле ее дома. Затаенная горечь выплеснулась из тайника и обожгла меня. Мой взгляд отпрянул ввысь. Вновь подо мною лежал однообразный макет города. Город уменьшался и таял, сжималась вода вокруг островов, словно вечернее

небо всасывало меня в глубокую воронку пространства. Потом подо мной стал крутиться земной шар, однотонно звеня, и звук вращения не раздражал слух. Из глубины Вселенной повеяло...

Я сбросил с головы одеяло. В сумерках комнаты крестом чернел оконный переплет. Мои руки дрожали, кулаки сами собой сжимались. Еще ничего не решив, ничего толком не зная, я понял, что у меня больше нет любви – нет любимой. Я поверил цветным следам воображения, я забыл о простуде.

Непонятная жажда деятельности овладела мной с такой силой – с такой небывалой спешкой, что точной последовательности событий моя память не удержала.

Я очутился на улице.

## 2

Под ногами плясали квадратные камни панели. Трамвайные рельсы быстро и криво струились по улице. Здания, дома – эти монолитные стоглазые громадины – казались ломкими и шаткими, как хрупкие галеты, высыпанные на дорогу.

Я бежал. Я дышал спешкой: злобой, ревностью и ругательствами. Что я тогда шептал?! Что выкрикивал?! Какой мстительной и юношеской взрывчатостью был переполнен!

– Я буду плевать, буду бить, буду щипать и царапать! Буду кусать и выть! Буду! Буду! Буду! Жечь! Убить! Топить!

Меня выплеснуло на проезжую часть улицы – асфальт стал царапать по подошвам, стал тормозить ноги. А ноги понеслись с немыслимой скоростью. Кожа на лице натянулась и готова была порваться от толчков пыли, от стремительного давления ветра. Каждый мускул в теле был напряжен, каждый мускул делал работу скорости – скорее! вперед! застать!

Я бежал убивать – я был готов убить. Какая-то женщина задела меня своей хозяйственной сумкой и выронила батон. Я мгновенно обиделся – десятки гадких слов должны были сокрушить эту женщину-помеху, преграду, батон, сумку... а мой голос очень сердечно произнес:

– Извините, пожалуйста. Я совсем нечаянно... Я тороплюсь...

– Пожалуйста, пожалуйста, сумасшедший, – ответила женщина.

Старая дура, – подумал я. – Откуда тебя принесло, грязь ты неметенная...

А мой голос сообщил:

– Я еще не сошел с ума, просто тороплюсь, верьте мне.

Женщина шарахнулась, как от автобуса. Она визжала что-то без слов, а я ей улыбался и кланялся. Потом ноги понесли меня вскачь. Кулаки все еще сжимались. А помехи – пропали или устранились. Если быть точным, то ноги стали ощущать препятствия на расстоянии. Что они воспринимали – флюи-

ды интеллекта или магнитные волны предметов, я не знаю. Бежать стало легко. Я несся, как ветер по улицам, обегая людей, транспорт, бачки с отходами, мятые комки газет и осколки бутылок.

Я знал, куда бегу.

Дом. Подворотня. Двор.

Лестница. Дверь. Звонок.

Хотелось сорвать звонок, выломать дверь, а рука аккуратно поднялась и нежно нажала кнопку звонка.

Звонка я не слышал, но дверь отворилась. Я вошел в квартиру. В коридорчике перед кухней Нина чистила бостоновую юбку спитым чаем. На плечах ее был халатик – и только. Она подняла голову, улыбаясь.

– Целуй, – сказала Нина.– Иди в комнату, я сейчас... Нет, идем вместе. Проходи! У тебя странное лицо. Что-нибудь случилось на работе?

– У меня все нормально. Это с тобой случается...

– Что случается?

– Ничего.

Я сел на тахту как подрубленный – бухнулся, а Нина тотчас забралась ко мне на колени, вцепилась легкими пальцами мне в волосы и поцеловала скулу, щеку, подбородок.

– Ты гадкий – фу, какой! Почему раньше не пришел? Путался с кем-нибудь, да?

Я слышал ее воркотню как бы за окном, как голубиные урчания на карнизе. А видел всю ее сразу, не знаю уж, как это сделалось. Четче всего виделся

ее глаз – зрачок сжимался, словно закутывался голубым дымом. Потом стала дымиться кожа, и голубой дым заполнил всю комнату. Я почти лежал на тахте, почти одетый, но тут вспомнил голубые следы на скамейке в саду, на которые наплывал суриковый мрак. Мой цвет был розовым – я это помнил. И меня снова понесло по улицам, как ветер, и я опять задыхался от злости и ревности, – я хотел ударить ее по голове... Рука вскинулась и погладила ее волосы, а мои губы припали к ямочке на ключице.

– Ты – меня – любишь? – да? – очень? Ты – самый – мой – ласковый, – самый – мой – хороший – самый – самый... Не молчи. Слышишь? Стой! Куда ты уходишь?

Я знал, что ее слова врут мне. Я чувствовал, что она мне стала чужой. Ревность истоцилась. Мстить ей не хотелось, и злости во мне больше не было.

Я вышел на лестницу и сел у перил – мне хотелось понять, что со мной случилось: что это за бег по улицам, что это за видение цветных следов, что это за знание чужих занятий... Хотелось еще знать, почему я говорю не то, что думаю, и делаю не то, что хочу. Мне казалось, что от меня исходит грязный запах лжи, что я лицемерен и скрытен там, где надо быть хотя бы откровенным.

– Ну, ну, – сказал мой голос. – Не огорчайся так сурово. В вежливости всегда есть доля лицемерия, ты так воспитан. Давай судить трезво. Мог ли ты говорить откровенно, то есть мог ли ты открыть Нине свое знание? Нет. Тысячу раз – нет! Во-первых, она

бы тебя высмеяла. Во-вторых, если бы она и поверила, то ругала бы тебя ищейкой, подлецом или еще кем и закатила бы истерику со слезами... Или еще хуже – она бы согласилась с тобой, приняла твою правду, а тебя бы выставила вон – поиграли и хватит! О, это тебе страшно, ты не хочешь терять свое... Да и лжи-то не было ни у нее, ни у тебя. Разве ты врал, целуя ее в ямочку на ключице? Разве она врала, расстилаясь?.. Признайся, что ты допустил возможность ее ласки не только для тебя, что она вправе делать то, что ей хочется. И ты сразу сломался. Ты бросился восстанавливать привычное равновесие, чтобы опять иметь и владеть, и вдруг обнаружил, что душа твоя рада страданию, рада знанию и совсем не хочет оказаться в прежней колее. Боль ревности оживила тебя, а умение видеть наградило знанием. Ты выбрал живость, ты отверг совладение. Ты ушел от нее – это самый правильный поступок за весь день, за весь месяц, а может быть, за весь год.

Мой голос умолк. Перед глазами дрожала белая стена. Под белым потолком лестницы хохотала электролампочка. Через мгновение, прыгая через несколько ступенек, я слетел вниз.

Только на улице, когда пыльный ветер ударил в открытый рот и песчинки заскрипели на зубах, когда мимо тротуара пронеслась легковая машина, а за углом дома раздалось жужжание набиравшего скорость трамвая, когда издали задрезжал милицейский свисток, и,

точно повинуюсь команде, над улицей вспыхнули молочные трубки люминесцентного освещения, – только тогда я вдохнул глубоко и свободно, увидел над головой россыпь высоких звезд и успокоился.

Шорох шагов и шуршание шин поднимались над улицей, как туман, и над крышами домов шум смешивался с темной синевой ночи – смесь звука и цвета напоминала усталость, во мне что-то опустело, что-то ушло, что-то потрачено – я устал.

В соседнем саду над оградой пенилась ржавая уже листва тополей – там я уже побывал сегодня, там я бывал и прежде – там я должен отдохнуть и подумать, посидеть, покурить... Так я был уверен несколько секунд. Потом пришла другая уверенность: ничего не изменится, ничего не выйдет из отдыха, никакой любви больше не будет. Я был обречен самим собой. И все же мои ноги вошли в сад, прошли по аллеям и завернули под кусты на скамейку. Я присел и потрогал деревянные рейки – на руке остались голубые брызжинки.

– Что ты обмяк? – сказал мой голос. – Восстань! Разозлись! На этой скамейке не первая любовь совершила не последнее предательство, – съешь скамейку, отомсти!

Дурак, – через секунду сказал мой голос. – Беспросветный дурак. Сон юности пролетел, а юность ничем не заменишь. Зрелость занята работой, зрелости нужно выживать – и только. Любовь может только согреть и убаюкать, но в любовь, как в Бога, надо верить. А у тебя какая любовь? – Страстишка! Выдумка. Работа воображения...



Дешевый трагик, – опять сказал мой голос. – Ты будешь искать прямые улики измены и не найдешь – проглядишь, потом женишься и до смерти будешь попрекать жену за то, что ее молодость была разнообразнее, чем ты ей разрешал. А жизнь идет, жизнь летит, жизнь меркнет! Надо жить каждую минуту, каждую секунду!.. Разве ты это умеешь? Зачем ты пришел сюда? Что ты нашел на этой скамейке?

– Не знаю, – ответил я самому себе.

– Ты пришел страдать. Тебе понравилось страдать. Страдание подобно музыке, оно звучит во всем теле, оно заглушает все иные чувства. Поздравляю тебя: к армии страдателей прибавилась еще одна ничемная единица. Совсем не обязательно быть банщиком, чтобы чувствовать себя чистым. Учитель не может быть справедлив, он отработывает чужую идею. Ты не первичен во всем, а именно первозданности тебе хочется. Вставай, Адам, иди своей дорогой, свои гроши в кармане не считай...

Мой голос оборвался. Мое дыхание вылетало кусками – я прыгал вокруг скамейки на одной ноге, рядом прыгали кусты, прыгала цементная урна, в которой прыгал мусор. Потом я выпрыгнул из сада.

Я бежал, едва касаясь носками земли. В бешеном галопе мое тело промчалось по Малому проспекту, свернуло на Седьмую линию и бросилось к югу. Из кинотеатра «Балтика» густой толпой вытекали знакомые лица, которые мне было не вспомнить,

– я узнавал уши, носы, волосы, но не узнал ни одной личности. Меня отделяла лужа от толпы лиц – мы стояли на разных ее берегах. Я упал в лужу на четвереньки, зачерпнул пригоршню воды и умылся. Знакомые лица отпрянули. Только один детина – силач или милиционер – попытался схватить меня. Тут уж я запротестовал. Я встал в полный свой тощий рост и стал декламировать прозой и стихами, матом и высоким стилем ораторов. Мой палач отошел, как побитый, а я пустился бежать по бульвару и свернул в Днепровский переулок, чтобы прятаться переулками.

Бесшумно дрожали дома. Скакали фонари. Качались лампочки под козырьками номерных знаков зданий. Тлели огни звезд. Асфальт набегал под ноги. Я споткнулся и не упал, но остановился. Несколько секунд я прислушивался к своему телу – к ногам, к рукам, к голове. Они, эти части, были немы и повиновались. Я снова был самим собой, правда, еще немного тревожило, что выкинет мое тело в следующий момент, но моменты утекали, а ничего не случалось. Я осмотрелся – я оказался на острове Голодай. Прошел мимо пыльного стадиона «Бумажник», мимо огненных окон ткацкой фабрики, мимо закрытого пивного ларька, у которого с тыльной стороны стояли заплесневелые бочки, где валялись белым веером окурки, где пахло солодом и воблой, – я помнил этот ларек еще слепым. Я прошел мимо дворника, прикорнувшего во время дежурства на ящике для овощей. Потом подошел к дому,

где проживал, и вошел в парадное – там сидел кот цвета всевозможной грязи с желтыми недобрыми глазами ночной усталости, кот на всякий случай раскрыл пасть треугольником и зашипел.

В моей комнате было не прибрано: в эмалированном тазу на столе лежала перьевая подушка, как ощипанная курица, а простыня свисала со стола на пол, скульптурно выпятив складки, словно служила реквизитом для натюрморта, на простыне крест-накрест лежали валики оттоманки. У шкафа не по-хозяйски были открыты дверцы – там, в таинственной глубине, было пусто, если не считать трех галстуков, которыми я повязывал одну и ту же рубашку во время рабочей недели, чтобы выглядеть имущим, который меняет сорочки три раза от бани до бани. Я усмехнулся – хитрости представительства себя людям меня уже не интриговали. Я навел порядок – застелил оттоманку, убрал в шкаф подушку и простыню и прилег. Ковровая обивка оттоманки оказалась теплой и ласковой, но уснуть я не мог. Я вспоминал подвиги всего дня, начиная с кладбища, краснел от стыда и досадовал на свои монологи, мне было неловко за цветные следы людей и стыдно за Нину. От мысли, что в толпе лиц у кинотеатра могли быть сослуживцы, мурашки побежали по коже – как им объяснить мое состояние? Мое знание? Мое виденье?

Я пересел к столу, удивляясь, что не убрал таз. Белый таз по цвету выглядел зеленоватым и покачивался. Мне показалось, что и комната шатается

со столом, со мною, с окошком. Пол уходил из-под ног. Чтобы не упасть, я ухватился за край стола, а лопатками уперся в спинку стула и неожиданно широко зевнул. В зеркале на стене я увидел свое отражение с открытым ртом. От отражения ко мне или от меня к отражению вились цепочки цветных следов – голубых, розовых, охристых, фиолетовых, едко-желтых. Сквозь нити следов падали осенние листья, висели провода, рычал милицейский свисток. А мое отражение подмигивало мне.

– Убирайся к черту, – сказал я своему отражению. – Я тебя не держу. Я хочу спать. Счастливей от тебя я не сделался. Что ты есть? Только видимая часть лица. Неприятная часть. Ты мне не соответствуешь...

Тут глубокий и пустой сон околдовал меня.

### 3

Теперь я прихожу на кладбище каждый день. В крестах и надгробиях, в склепах и раковинах мне чудится некий символ, словно под каждым камнем тут лежит мое прошлое, словно тут ждет меня внимание и равноправие друзей, и я охотно радуюсь взаимопониманию или молчанию между нами, потому что мы знаем, что за высшей точкой проявления личности – за страстью встает высший смысл необходимости различных форм существования. Я знаю, что смерть не остановка, а переход в иное бытие, ибо материя бессмертна. Я не знаю, куда денется мое сознание.

Кладбище почернело. Рыжая листва осыпалась, дожди забрызгали ее грязью, а людские ноги сбили ее с дорожек. Черными стали кусты, черными стали деревья. Даже березы утратили белизну и слились с серыми пятнами лишайника. Они побелеют после – зимою, а весной станут сиять...

Вот покосившееся надгробие – здесь я простудился неделю назад. Осторожная грусть шевельнулась в глубине души, когда я смотрел на это каменное кресло. Моя жизнь прекрасна, если не считать легкой горечи одиночества, которая заполнила мою комнату с того вечера, когда я увидел цветные следы жизни. Горечь эта, как воздух, а одиночество, как тень или полутень – как игра света, в которой мы являемся не людьми, а предметами. Точность, с которой я помню детали того вечера, указывает на реальность былого, и мне бы хотелось повторить умение видеть, поэтому возвращаюсь на кладбище, как изгнанник к причалу, от которого отходят корабли на родину.

Позже выяснилось, что в тот вечер я из дому вовсе не выходил, на кладбище не был и не выслеживал свою любовь. Я болел и бредил, были галлюцинации. Товарищи по работе навестили меня вечером, потому что я на работу не вышел. Они принесли гостинцы, купленные на профсоюзные деньги, – все осеннее – сливы, яблоки. Но я был безразличен к еде – болезнь отбила аппетит.

И Нина приходила в тот же вечер, она принесла сливочных тянучек и пачку пельменей. Узнав, что я болен, она тихонько ускользнула, даже не поцеловав в щечку. В кульке конфет была записка:

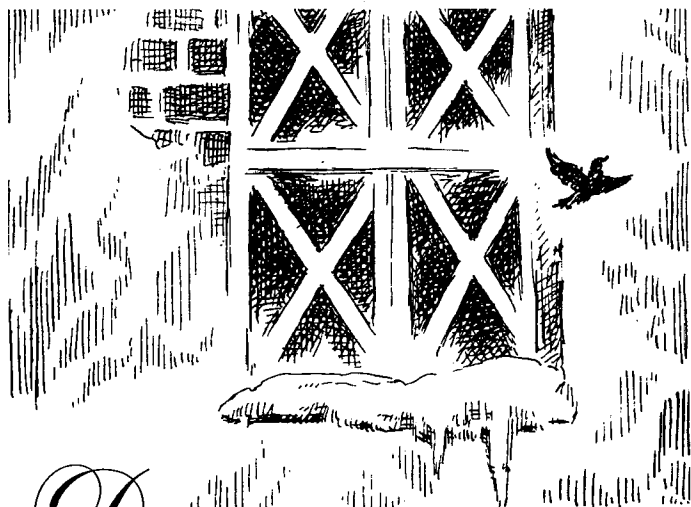
«Миленький, я выхожу замуж за начальника цеха, так уж получилось. Мамка все равно не дала бы нам быть вместе, она тебе не верит. Мы встретимся после. Хорошо? Я тебя никогда не забуду».

Какое убожество! Но ее ложь не уколола меня, ведь я уже всю эту ложь предвидел.

\* \* \*

...Я брожу по дорожкам пустынного кладбища и твердо знаю, что молодое безрассудство поступков никогда уже не повторится, что я упустил возможность видеть цвета жизни, но во мне выросла цепкая мудрость опыта, умеющего вылезать из болезни, и когда я вижу покосившееся надгробие у ствола клена, осторожная грусть переполняет меня.

Конечно, я и раньше понимал, что женщины лживы, поэтому не новость, что Нина обманывала меня. Однако ложь игрива. Нам, мужчинам, ничего не остается, как играть женской ложью в свое удовольствие или болеть от любви. Я свое отболел-переболел, у меня теперь иммунитет к женской лжи – не гриппую, не психую, не чумею. Впрочем, мужская ложь тоже известна мне, но к этой лжи я терпимее – она мне роднее, что ли, недаром же мир разделяется на мужскую и женскую половины...



## ДУРАНДА

Говорят, смена труда – лучший отдых. Не знаю. Неуверен. То есть уверен в обратном... Это как – в обратном? Лучший отдых – это смена труда? Так, что ли? Это ж абсурд, чушь собачья, дерьмо ишачье, пирог с отрыжкой, чалма покойной бабушки. Опять не уверен, то есть уверен в обратном: бабушка чалмы не носила, она жила в Райволе, где по-русски не разговаривали. Я в Райволе тоже по-русски не разговаривал, потому что там не жил, однако это уже ни к селу, ни к городу, отрастил боров бороду, пошел брить к пастуху, да со страху лег на

плаху... Я хотел сказать, что лучшим отдыхом считаю воспоминания. Поэтому начнем сначала.

Говорят, что смена труда – лучший отдых. Это значит – отмотыжил ты восемь нормированных часов, начинай лопатить, иначе устанешь. Согласны? Я имею в виду, согласны на такой отдых? Тогда бери лопату в руки и кирку, а если вертухнешься... О, бог мой, поволкло же в память. Извините, опять начинать стану.

Приснилась мне война. Я увидел себя больным и голодным, и в темноте сна светила дуранда. Что такое дуранда? Знаю и не знаю. Помню и не помню. Хочу забыть, а не забывается.

«Я знаю, что ничего не знаю», – сказал Сократ и соврал, и правду все же сказал – одновременно. Получается, что существует правдивая ложь и ложная правда, – эти вещества являются окисью друг друга и в чистом виде в природе не встречаются. Если же что-то в тебе окисляется – это уже химия, значит, я нахимичил.

Человек начинает химичить гораздо раньше, чем узнает слово «химия». Пятилетним мальчонкой вывели меня во двор – мол, пора вылезать за скорлупу квартиры, в которой на свет проклюнулся. Зачем нужно вылезать куда-то из чего-то – неведомо.

Во дворе было много кого – я их раньше сверху видел, с подоконника, – они были маленькими и не имели лиц, а кепки, носы, платки и прически – были. Двор был мощный булыжинами, между булыжин – земля. Была во дворе подворотня аркой, за подворотней – улица, где



что-то шумело. На бульжниках стояли ноги – всякие ноги: в чулках и носках, в брюках и юбках, – и все ноги очень большие. Где-то вверху над ногами были лица, их лучше всего видно было на расстоянии, а когда лица приближались, то виделись одни подбородки. Сперва ни лиц, ни ног не запомнил, потом запомнил – они повторялись изо дня в день – как не запомнить? Были во дворе малыши – как я и даже меньше, а некоторые – крупнее, то есть старше. Подвели меня к одному ребенку, сказали:

– Это Коля, ты с ним дружи.

А у Коли из носу сопля до губы, как червяк, мне с ним дружить не хотелось. И как это – дружить? Колька взял меня за руки и потянул:

– Айда в прачку, я тебе песенку спою.

– Идите, идите, поиграйте, – сказала моя няня, – когда обедать, я тебя позову.

Повел Колька меня во второй двор, там в одном углу дверь, а на двери написано «уборная», а в другом углу дверь и на двери написано «прачечная».

Там еще помойка была и три лестницы, про которые Колька сказал – черные.

– На черных лестницах гопники курят, – сказал Колька. – Это Шило, Димка Скок и Павлик Морозов, они уже в школу ходят.

– А здесь? – показал я на уборную.

– Сюда с улицы ходят, – сказал Колька. – Дерьма от них – на лошади не вывезти.

– Какой лошади? – спросил я.

– Спроси Ваську-дворника, это его слова.

– А песню споешь?

– А ты петь будешь?

– Я не умею.

– Научишься, – сказал Колька. – Айда в прачку.

В прачечной было полутемно, хотя лампочка под потолком светилась. Там стояли деревянные корыта на деревянных сваях, над корытами были толстые кра-ны, а на полу – реечный настил, и все там было скользким и мокрым.

– Зачем надо в прачечной петь? – спросил я.

– Глупой, – сказал Колька. – В прачке вода шумит, когда поешь, слов не разобрать. Во дворе спой – сразу по губам дадут, а потом дома добавят.

– За что – дадут?

– За песни.

– За какие песни?

– А за такие, – сказал Колька и запел над моим ухом:

*И шла женщина, курила,  
на звезде компот варила,  
с луком моя химия...*

Няня выволокла меня с черной лестницы силой. Колька спрятался куда-то, а я перхал – закашлялся, мне дали курнуть.

Дома меня мыли с мылом с головы до ног, потом сушили в большом-большом полотенце, а потом зас-

тавили есть бульон с вермишелью. После обеда няня мне сказки читала почти что весь день, пока папа с работы не пришел.

– Что нового? – спросил папа.

Няня отвернулась, как не слышала, а мама подошла поцеловать папину щеку, улыбнулась и сказала:

– Сегодня наш молодой человек побывал во дворе...

– О, это уже событие, – признал папа. – Садись рядом, герой, и рассказывай, что видел, чему научился.

Я сел, как взрослый, на стул рядом с папой, ногу на ногу заложил и носком покачал – от Кольки научился. А папа улыбнулся и ногу мою с другой ноги стащил.

– Рано тебе еще так расслаживаться, сиди нормально.

– Мне нормально, – сказал я. – Так все гопники сидят.

– Кто это – гопники? – спросил папа.

– А Шило, Скок и Павлик Морозов... И Колька...

– Колька – это Дурманова сын, на год нашего старше, – сказала мама. – Они подружились.

– Дурманов-то – орел, – протянул папа, – хотя работяга с умом и смекалкой. А что сын его, хороший парень?

– Сопливый, – сказал я.

– Это не горе, а неудобство, – улыбнулся папа.

– Он меня петь научил... в прачечной.

– А в другом месте что, петь нельзя?

– Нельзя. По губам дадут.

– За что – дадут? – не понял папа.

– За песни.

– За какие?

– А за такие, – сказал я и запел:

*И шла женщина, курила,  
на звезде компот варила...*

Мама за голову схватилась. Няня спряталась за штору. А папа тыльной стороной ладони треснул мне по губам. Больно. Я заорал, почувствовал кровь на губе и слезы на щеках.

– За что ты его? Он же еще совсем ребенок, – сказала мама плаксивым голосом.

– За песни, – ответил папа. – Ему было сказано, что в другом месте по губам дадут, и дали, людям верить надо.

Папа не казался сердитым, поэтому губам стало больнее, чем было. От слез плохо видно – все расплывалось: и папа, и мама, и комната, а стол даже качался...

– Чему еще тебя учили? – спросил папа.

– Курить учили, стихи говорить учили...

– Это уже безобразие, – сказал папа. – Ты, герой, в углу постой, а я навещу Ванюшку Дурманова, надо нам поговорить о воспитании детей.

Кажется, я простоял в углу всю жизнь – между стеной и дверью в комнату. Мама ходила мимо и вздыхала. Няня стряпала в кухне и плакала. Потом я упал – ноги устали, упал и заревел. Мама подбежала, схватила меня на руки и унесла в кухню. Няня мокрой ладонью вытерла мое лицо, а капустную кочерыжку я взял сам – без спроса, и мне не сделали замечания. Во дво-

ре стало уже темно, свет в окнах зажегся, а в подворотне – лампочка сияла.

Дурмановы жили на первом этаже, а мы – на третьем, из кухонного окна было видно, что папа мой сидит за столом напротив Колькиного отца, между ними посуда с едой и бутылка с вином. Кольку не видно было – Кольку было слышно, он орал благим матом одну и ту же букву: а-а, а-а, а-а!

Перед сном я лежал в кровати и слушал, о чем говорят взрослые в соседней смежной комнате.

– Совсем не пускать? – спрашивала мама.

– Напротив, – говорил голос папы. – Пусть ходит гулять во двор, он теперь будет отличать правое от левого.

– Может, лучше с Тонечкой ему?

– У Антонины Ивановны и без того забот много, – сказал папа. – Мы сговаривались воспитывать сына, а не пасти, правда же, Антонина Ивановна?

– Рано или поздно все слова знать надо, – ответила Тонечка. – Моя вина – недоглядела, и это в первый же день. Стыд на мне...

...С Колькой Дурмановым мы дружили до самой войны, потом Дурмановы куда-то делись. Потом Тонечки не стало... Потом письменно сообщили, что папа геройски погиб, защищая родину. Мама в тот день очень плакала, а я – нет, – мне есть хотелось. Была зима, мы ели, что попадет, да мало что попадало. Мама студень варила из копытного клея, после еды в животе вода клокотала. К весне по мне вши стали бегать. Мама

меня обрила, а сама испугалась: люди говорят, что вши ни с того, ни с сего – это признак скорой смерти. Тут еще зубы шататься стали от цинги. Мы стали пить чай из елочки – от цинги, чай кислил и горчил, а десны окрепли. Только март начался, маме повезло: выменяла на рынке за шерстяные носки кусок дуранды.

– Покажи зубы, – сказала мама. – Грызть можешь?

Я оскалился:

– Могу.

– Вот и грызи, это дуранда – полезно.

Клянусь всеми богами Греции и Рима и всеми видами христианства с поклонами Будде и Магомету, ничего вкуснее и милее дуранды на свете не существовало! Пахла дуранда орехами, а привкус у нее был шоколадный. Три дня грыз этот кусок дуранды. После елового чая дуранда казалась сладкой, как довоенные пирожные.

Потом нас эвакуировали в Сибирь.

Там, в Сибири, и вся моя жизнь как-то изменилась: то ли я вырос, то ли отъелся. Проказничать стал – по садам и огородам шарить, с ребятами – драться, на птиц силки ставил, а учиться в школе – ни-ни, то есть нечему было учиться. Никого в деревне из детей старше четвертого класса не было – всех, кто кончил начальную школу, отправили в город – в ФЗО. В школе сидели буквари, с первого по четвертый класс – все вместе, и все вместе занимались одинаковыми уроками. Я скучал – я уже умел читать и писать. Когда мо-

тал уроки, учительница матери не жаловалась – на что? Успеваемость у ребенка прекрасная.

– Скорей бы домой, – шептала мама так, чтоб я все же слышал, – так она укоряла меня за озорство, а может быть, и за хулиганство, потому что курить я стал, как взрослый, кисет носил с махрой и квадратиком-пачкой из газетной бумаги – для самокруток. И самогонки попробовал, а зубровку полюбил – она мне, зубровка, из всех видов питья лучшей казалась, как дуранда, в сравнении с котлетами из лебеды или кашей из горчицы.

...А в 1944 году мы с мамой вернулись в Ленинград, и в этом же году мама возьми и выйди замуж, влюбилась, что ли. И стал я большую часть жизни проводить вне дома, так как маминого мужа не полюбил, а может быть, излишне ревновал маму к нему.

Потом во дворе объявился Колька Дурманов. Он вырос – стал плоским, как доска, и широким, как шкаф. Носом он все еще хлюпал, но под носом было чисто. Носил Колька тельняшку и клеши, как моряк, опоясывался широким ремнем с бляхой, а в пасти у него фикса сияла. Встретились мы с ним во дворе возле поленниц, он мне лапу протянул, мол, здравствуй, и сказал:

– Привет.

На лапе у него наколка была, как транспарант: *«Не проси – поднесу»*.

А под транспарантом могила с крестом нарисована.

– Пойдем, рванем за встречу, – позвал Колька.

– Чего – рванем?

– По сотке и по пивочку. Айда?!

Я пожал плечами как бы нехотя, Колька врубился и засиял фиксой на весь двор:

– Не тужи, я имею на выпить. Айда?

Водку в те времена продавали в розлив в будках, их теперь называют ларьками, будки эти. Никто из продавщиц не возражал, если дети просили два по сто и, скажем, пару кружек «жигулей», ведь чтоб купить, надо деньги иметь, а если деньги есть, что угодно купишь, не так ли?

Рванули мы по сто граммов ленинградской водки, пивом запили, а воблой – заели. Ноги у меня сделались легкими, и улыбаться стал не хуже Кольки, хоть без фикса был.

После мы с Колькой в «Форум» ходили кино смотреть – какое, не помню – темно в кинозале было, жарко. Мы еще по набережной шлялись – искали девочек, с кем бы познакомиться. Колька говорил, что он уже мужик – знает, что и как, и меня научит. Из-за девочек мы поцапались: Колька встречным девицам такие предложения делал, что у меня рожа пылала. Я его оставливал, мол, заткнись, мол, как тебе не стыдно о таких вещах... А он мне:

– Ты что, дурак, что ли? Им не меньше нас хочется...

За дурака я ему по соплям врезал. Он утерся, кулак сжал, где транспарант над могилой, и мне в глаз треск!

Вечер был, сияли звезды, а у меня почти что полная темень наступила.



– Еще хочешь? – спросил Колька.

– Завтра поговорим, – ответил я. – Сейчас в аптеку надо за примочкой, бодяги надо тоже, а то мамин муж скандал закатит...

Скандала не было – когда вернулся домой, мои старшие спали. На другой день оставил маме записку, что уезжаю на рыбалку, а вернусь в понедельник. За три дня синяк, конечно, не исчез, зато опухоль сошла совсем.

С Колькой мы стыкались до первой крови на Смоленском кладбище. Он бил сильно и неточно – то по моим плечам, то по рукам. Мне обидно стало, что больно бьет, я ему крюком в челюсть залепил – и промазал, то есть по носу попал. Кровищи было – ручей, а Колька хохотал:

– Ай, лихо влепил! Был бы ты чужой, я бы тебя на шило посадил.

Колька показал мне шило, вставленное в вечное перо, сказал, что при обыске менты на вставочку внимания не обращают.

– А где Шило? – вспомнил я довоенных гопников во дворе.

– Погиб, говорят, в блокаду. А Павлик Морозов вышку схватил, на севере чалится... Мы с мамкой решили на север переехать, – вдруг добавил он.

– Зачем? – изумился я.

– Мамка хочет в колхозе жить, она без бати в городе быть не хочет...

– А это далеко – колхоз?

– Не очень. Анциферово называется, на Псковщине, там у нее не то сватья, не то кума есть. Я тебе отсюда напишу, если не против.

– Пиши, – кивнул я. – Только Псковщина на юге от города.

– Чудачок, – сказал Колька. – Сто первый километр в любую сторону север, понял? Матка говорит, мол, сама тебя на сто первый вывезу – без милиции, мол, батя был бы жив, он бы тебе всю Европу показал, шпана ты, говорит, и шпаной от тебя воняет. Лучше, говорит, до отъезда на глаза не показывайся...

– Ты что, заблатовал? – спросил я.

– Не очень, – вздохнул Колька. – Для понту больше. Все равно скоро в армию заберут, осталось-то полтора года.

...Получил я от Николая Ивановича Дурманова несколько писем. Три, четыре ли – еще тогда, на грани отрочества и юности, – я их забыл. А вот когда мне двадцать пять лет исполнилось, то прилетело заказное письмо, это вот помню дословно:

«Привет, Юрок! Знаю, что ты остался один, – рано или поздно, мы сиротеем, то есть делаемся взрослыми. Не тужи. Собери вот манатки да приезжай гостить, на сколько хочешь, может, совсем осядешь, – я помогу, если что... Я оженился тут, избу отстроил, работаю зоотехником совхоза, за мной кажинный день «козла» присылают – на работу везти. Хорошо бугром быть, честное слово. Приезжай! Николай».

Мама моя умерла на Псковщине – в Порхове, может, там, на Псковщине, обо всех сиротах знают, подумал я и поехал гостить... Мне надо было отвлечься от города, надо было «забыть» свою вину за смерть матери. Ну, и на взрослого женатого Кольку-зоотехника взглянуть хотелось. Послал ему телеграмму:

*«Встречай сироту вторник утром».*

На почте сказали, что шифрованные телеграммы не принимают, пришлось им показывать свидетельство о смерти матери и соврать пришлось: мол, братишка младший один в деревню едет. Почему мы, люди, друг другу капканы ставим? Почему нужно объяснять любому чужому, что и как у тебя на душе или в семье? Возмутился я и набазарил на почте – взял телеграфный бланк и написал: «Хорони меня восемь вечера четверга тчк Выпить есть чего зпт кушать нечего зпт Кочерга». И в окошко телеграмму сунул. Почтальонша прочла да как залыбится!

– Встретишь? – говорит. – Или адрес дашь, где встретимся?

– Встречу, – сказал, – с букетом.

Ехал в поезде и думал, перескажу Кольке, как заклеил почтаря одной телеграммой. И задремал – ночным поездом катил в гости-то, хорошо проводница растормошила:

– Слезай! Полторы минуты стоим, не то во Псков укаатишь.

Рассвело уже, пасмурно. Сарай какой-то огромный возле железной дороги. Деревья кругом, и сырость.

А метров за пятьдесят от сарая стационарный домик и возле крыльца стоит «газ» – машина, которую в народе чаще всего «козлом» называют. Ну, думаю, вот и Колька тут, ждет... Подошел к машине, а там мужик спит, ну, годов под сорок. Вдруг, думаю, не меня ждет? И по ветровому стеклу тук-тук костяшками руки своей. Мужик отворил глаз и зевнул.

– Че, – сказал, – ломишься-то? Залазь, сирота.

Голос знакомый, а мурло – нет, стар очень, поглядел на лапу, что на баранке машины лежала, увидел там транспарант, поврежденный ожогом, и широкий шрам ниже, где могила с крестом была.

– Ну, волчище, заматерел, – сказал я. – Дай, обниму.

Колька улыбнулся и сразу помолодел, улыбка у него на все тридцать два зуба отворялась, и там, где фикса была, стальной клык встроился.

Подкатили мы к новой избе. Колька мой мешок на крыльцо бросил, а меня поволок в огород – в баню, там у него и выпить и закусить было. И веники были дубовые и березовые, а баня топлена жарко. Попарились мы, выпили и закусили – каждая косточка в моем теле пела, кожа ощущалась как непробиваемая стена, и казалось, что горы свернуть можно – столько сил во мне было.

После бани мы с ним поехали на ферму, где Николай Иванович трудился зоотехником. Внимания у меня к его работе не нашлось, то есть этот совхозный деревенский мир не казался мне реальным, а как бы во сне явленным. Я даже знакомился с кем-

то и говорил что-то, помню, что мне улыбались, а кто – не помню, но не коровы.

Вечером был пир. Жранины на столе было, ну, на десятерых, а питья – на неделю. Может быть, от изобилия мы не спешили ни с едой, ни с питьем. Песни пели. Весь день хотелось петь, а как за стол сели – не удержаться стало. Жена Колькина Светлана пела так тонко и нежно, что плакать хотелось от умиления. Колька ей подмигивал и лыбился, она ему кивала и улыбалась. К ночи я все ж набрался. Помню, что Николай меня нес куда-то и сложил на что-то. Потом стало темно.

Утром Колька и петух зашумели надо мной одновременно. Колька мне ковш пойла поднес – пахты, чтоб башка моя освежилась. А петух мне зорьку орал. Если бы не пахта, не носить бы петуху головы.

– У меня выходной, – сказал Николай. – Что хочешь делать?

– А я знаю? – отвечал я.

– На рыбалку хочешь?

– Без сомнений, Николай Иванович. Рыбалка – это мечта идиота в упаковке ничем не запятнанного времени.

– Ну, ты даешь, – сказал Колька. – Слушать смешно. Хорошо балдишь, бугром будешь.

– Помолчи, – сказал я. – У тебя голос колокольный.

– Переделаем, – ответил он. – Бочку пива сварим, голос как из бочки выскочит. Голова бы не отвалилась...

Озеро было рядом, лодка приготовлена, и удочки, и шитики, и бутыль с квасом. Наловили мы окуней штук

надцать – не считали, а на уху хватило. Хлебали мы уху деревянными ложками и нахваливали друг другу, мол, ничего нет в целом мире лучше окуневой ухи. Потом Колька вдруг сказал, мол, помнишь войну? Мол, в войну самым вкусным ему было есть ржаной хлеб, политый постным маслом и присыпанный крупной солью.

– А мне, – сказал я, – ничего вкуснее дуранды не попадалось. Даже не знаю, что такое дуранда, а вкус помню и запах тоже... кажется...

Я еще что-то плел про дуранду и ее вкус, про дуранду и мечту, про дуранду и детство. Колька глаза отводил, и это меня еще больше воодушевляло – хотелось доказать, как я прав, как памятьлив и как благодарен неведомой дуранде.

Мы курили на крыльце. Отдыхали от отдыха – от рыбалки, от ухи, от избы... Солнце было высоко, и день казался долгим-долгим.

– Хочешь дуранды? – лукаво спросил Колька.

– А есть?

– Есть, раз спрашиваю.

– Тащи!

Он принес из сарая кусок чего-то размером с четверть кирпича. На вид – грязь. На запах – помои. Куснул – погань во рту. И сплюнул.

– Это не дуранда, – сказал я. – Это дерьмо.

– Это самая настоящая дуранда – жмых подсолнечника, мы скот прикармливаем ею. Тебе, Юрок, это медом запомнилось – от голодухи. На сытый-то

желудок, видишь, дерьмом кажется. Так уж человек устроен: то поет аллилуйя, то Лазаря, а причина одна и та же.

– Ты меня не дурмань, Дурманов, я без твоей философии запутаюсь. Если вкус разный, то и продукт разный. Коровы у вас всеядные – не жалуются, я бы восстал...

– Восставай, восстатель, а меня не смущай. Вся наша труха с тобой – дуранда, вся забота, весь вкус с аппетитом. Сегодня хорошо кусать, завтра муторно. Перетерпишь – опять хорошо. Правильно говорю?

– Откуда я знаю. Мне с твоей крыши голубей не гонять.

– Знаешь, не темни. Я тебя насквозь вижу. Правду каждый знает, да никто признавать не хочет. Как признать? Признай – тебя в дураки или негодяи запишут. А если правда не про тебя, то какое тебе дело до нее? У вас в городе у каждого своя правда, да еще правда государственная – дышать нечем от правды. Поживи здесь. Оглядишь. Подумай. Может, сообразишь что путнее... В городе-то человечинку в себе сохранить трудно, в городе из тебя агрегат делают, а на деревне – лафа! Чтоб мне сгнуть! Не зря говорят – натуральное хозяйство! Погляди в глаза лошади – она не восстает, она иронизирует над тобой. И повинуется. Как ты. Лошадь – за уход. Ты – за зарплату.

– И ты тоже.

– У меня больше – у меня еще земля под ногами. У меня корова советница, боров – подсказчик. В каждом углу избы клад лежит, а на цепи – друг сидит и скалится.

– Э, фефела, меня на цепь не посадишь, – сказал я.

– И нужды нет. Ты без моей помощи цепным сторожем работаешь.

– Не сторожем, а пожарником, сутки через трое... Двадцать три выходных каждый месяц.

– Работай со мной – круглый год твой будет. Помнишь наш двор до войны? Что изменилось? Ничего не изменилось. Дров нет во дворе – удобство, а муто-та вечная. Смотришь – сахар, а куснешь – дуранда. Когда-то я на тебя заглядывался – сравнивал, догадывался... Про тебя говорили, мол, недюжинный ребенок. Завидовал... И поверил. Если я недоблатовал, так тебе спасибо. Вот, свиделись, поговорили, а не слышу тебя. Был ты бугорками, а выровнялся, как плоскость. У тебя все путем катится. Прямо в будущее. А мне за прошлое стыдно. Руку марганцовкой сжег – наколку сводил. Я бы душу сжег, если бы это отчистило меня. Как бы тебе это сказать... Вот рука. На одном месте дважды глупость сделал – сперва татуировку мудовую, потом ожог до кости... Помнишь, фиксу латунную носил? Зуб от нее испортил, пришлось стальной клык вставлять. За одну глупость дважды платить приходится. А где ума взять?

– Ты что завелся? – спросил я Николая. – Заведешься тут... За жизнь без заводки не побормочешь... Да, ладушки, пустячок. Жди в гости. Гляну на двор наш деревенскими глазами. Как царь Салтан, у Гвидона погощу, чудный город навещу. Если



жениться надумаешь, телеграмму дай – мы тебе поросеночка зажарим, барашка испечем, концы?!

Надрыв мне слышался в его голосе, а не жалоба, – истошность, как звук на одной ноте, как его крик до войны, когда его батя лупил: а-а-а!!! Спросить про надрыв постеснялся – зачем в душу лезть? А догадаться – не умел. Внешне-то Колька выглядел зажиточно. Пробыл неделю в лени и сытости, нарыбачился на сто лет вперед. И распрощался с Николаем и его женой.

А спустя десять лет узнал, что Дурманов подался на Крайний Север, потому что жену застал с любовником.

Бросил он дом, семью бросил – как есть, без развода. Светлана его шесть лет разыскивала, как овчарка, по следам – по отделам кадров, по милициям, по райкомам партии, и нашла-таки. Сперва просила убить ее или простить, а то сама на себя руки наложит... Он простил, теперь они оба – олениводы на Чукотке.

У меня тоже горестей набралось – пруд пруди, и любовных, и коммунальных, и должно быть, политических – от разговоров про власть Советов. Поэтому, чтобы утешить Кольку, чтобы показать ему мое уважение и сочувствие, послал туда, на Чукотку, целую плиту дуранды – может, ему, может, оленям в пользу... Я же спасся дурандой.



## ЧЕРЕМУХА ЦВЕЛА

**М**ать говорила, что родила меня в глухой деревне, – кому бы и знать, как не ей, а я не верил, потому что я – Васинский, то есть с Васильевского острова. Сколько помню себя – помню себя на Васильевском. Если во мне что-то застряло деревенского, так это любовь к черемухе, когда черемухи в цвету. Сколько помню себя – помню старую черемуху на углу Восьмой линии и Большого проспекта, листьев на дереве вроде бы не видать – только белая пена цветов и одуряющий запах в промозглом воздухе: зябко и пасмурно, влажность такая, что деревья и окна, как в холодном

поту, волглы, над спинами горожан воротники дыбом, спины как бы горбатятся, а голоса звучат ворчливо об отвратительной погоде. Так цветет черемуха, ошибиться невозможно, белый цвет черемух держит плохую погоду два-три дня, а то и целую неделю; меня погода не пугает ни пасмурная, ни ветреная, ни солнечная, ни холодная, однако весною люблю ту пору, когда цветет черемуха. Пацаном я залезал на газон под черемуху и дышал дурманной сладостью, свежестью, очищаясь от уличной гари, пока какой-нибудь взрослый не прогонял прочь, угрожая милицией: ведь невозможно быть под черемухой и не обломать несколько веток, чтоб унести аромат домой. Прошло детство и отрочество, и настала юность. В семнадцать лет я обалдел от запаха черемухи, словно аромат ее был магическим или наркотическим. Днем я старался к черемухе не подходить, чтобы люди не видели капризов моего лица, а вечерами – вечерами мне в султанах черемухи слышались смешинки и шепота. Станет черемуха отцветать – лепестки цветов осыпаются, как снег, – сидишь под черемухой, как в сугробе, и словно бы чьи-то пальцы легко касаются тебя, а в гуще веток выглядывают тебя неведомые глаза. На другой год, то есть когда мне восемнадцать исполнилось, как только пришел к черемухе, сразу почувствовал, что прежние глаза меня выглядывают, и лицо человеческое почувствовал, чьи глаза на меня смотрели, и стало мне маятно и отраднo. В девятнадцать лет я уже спешил к черемухе, надеясь, что поймаю взгляд, обнаружу лицо, от которого сладко и тре-

можно во мне. Но встретилось оно мне только в двадцать лет, то есть не встретилось, а открылось – наградило меня своим явлением, вызвало во мне неведомую прежде влюбленность, а потом... Потом – это не важно, это тошно, это горько. Потом – это тогда, когда ничего в душе не остается, кроме вкуса несчастья.

...Цвела черемуха. О, как цвела она! Сидел я на влажной скамейке за будкой справочного бюро, дышал, очищался, глядя в цветущие вороха запаха. Была ночь, фонарь с матовой лампой на углу улицы у колбасного магазина вроде бы горел, а не освещал асфальта, только вокруг черемухи от фонаря облако света висело. Где-то у Невы каблочки застучали: цок, цок, цок. Звук в мою сторону спешил, а черемуха цвела бесстрашно. Каблочки мимо меня протопали прямо к черемухе и – замерли. Я на скамейку лег, чтоб увидеть, кто прибежал мою черемуху нюхать, – увидел ноги в капроновых чулочках, рябенькое пальтишко, финское, вероятно, и шарфик вязаный у шеи, а головы не видно – ветки цветов застилали. Потом заметил, как ножки встали на цыпочки – каблочки оторвались от земли, а черемуха неподвижна, значит, тянется за цветами, а до цветов не достает. «Так тебе и надо, – думал, – нечего чужую черемуху ломать, нюхать надо – запаха для счастья достаточно».

Поза у меня была неудобной – плашмя как бы, а башка повернута, я было подложил руку себе под скулу, и движение мое нарушило тишину доставания цветов: ножки вздрогнули и на каблочки припали. А потом она присела –

захотела увидеть, кто ей прошумел. И я узнал лицо ее и глаза ее, дважды узнал, ибо это ее лицо и ее глаза прятались от меня в черемухе три весны, а еще раз узнал ее, потому что мы были соседями по улице жизни, встречались на улице всю школьную пору, она училась в тридцать третьей женской школе на Двенадцатой линии, а я в тридцатке на Седьмой. Было даже, что мы танцевали на школьном вечере дружбы, она пригласила на дамское танго, танцевали молча, мне было неловко – торчишь колом над веточкой, ногами шевелишь, а сказать нечего. От неловкости и от танцевального шуршания я обнаглел и чужим голосом спросил:

– Как тебя зовут, создание?

– А тебе имя мое интересно? – спросила она. Я сразу не нашелся, рот раззявил и ни звука. Она сама назвалась:

– Еленой Михайловной меня зовут.

– Елочка-Метелочка, – подтвердил я.

Она мне улыбнулась. А танцевали мы, когда нам было по четырнадцать лет, вечер дружбы был в честь завершения неполной средней школы. Забылось это. Потом школа осталась позади. Город вроде бы увеличился размером и, одновременно, одомашнился, – это свершился еще один шаг мироощущения, узналось еще одно звено цепи комната – квартира – двор – школа – улица – район, – открылся город, а школа как бы забылась. И в один миг вспомнилось, словно я заново пережил прошлое. Глянула на меня Елочка-Метелочка – глаза бездонные, тревожные, смотрит звериком – дикими ис-

крами злости, что ли, и мне стало неловко, как во время нашего танго, – неловко, что увалился подглядывать.

А Елочка спокойно попросила:

– Достань мне султанчик, пожалуйста, мне никак...

Я вскочил, притянул ветку, стал отламывать побеги с соцветиями, а тут милицейский свист...

– Сваливай, – прошептала Елочка, – за сберкассой проходняк.

Подхватил я букет черемухи под мышку и в соседний проходной двор бегом. Елочка за мной: цок, цок, цок. Мы поплутали в темноте проходных дворов и выскочили на Седьмую линию за «Пирожковой» – под самый фонарь, на свет стремились, как ночные мотыльки. Там, под фонарем, я вручил Елочке букет черемухи, она молча зарылась носом в цветы и дышала, а кудряшки ее каштановых волос мелко вздрагивали – смеялись.

– Что смешного? – спросил я Елочку, а у самого грудная клетка как вмята, больно в груди, словно легкие в ребра не вмещались, щекам жарко было, как от стыда.

– Я тебя вчера у черемухи видела, – сказала Елочка.

– Ну и что?

– Ничего. Зачем ты у моей черемухи ночи просиживаешь?

– Как это – твоей?

– Когда-нибудь расскажу, – пообещала она.

Ей, видимо, не хотелось разговаривать, и мне тоже. Мы гуляли молча – не касаясь друг друга рукавами, какое-то сопротивление истекало от Елочки, словно мы

были одноименными полюсами магнита. Мы долго кружили по Васильевскому и кружным путем вернулись на нашу Одиннадцатую линию, к дому Елочка подошли – прощаться надо было, а у меня язык не ворочался.

– Хочешь, – сказала Елочка, – зайди ко мне...

Меня словно бы кто по ногам ударил, щеки снова вспыхнули, но устоял на ногах и ответил деревянным голосом:

– Уже поздно. Зайду в другой раз.

– Дело в том, – сказала Елочка, – что я тебя каждый день знаю, а ты меня первый раз увидел за семь лет.. Пока.

Она поднялась на цыпочки и куснула меня за щеку.

В мае ночи коротки, и это не всегда удобно, особенно, когда тебя первый раз куснули в щеку, так как укушенному нужно выходиться – восстановить равновесие душевных сил. Елочка упорхнула в парадную, а я остался на панели со щекою, даже не со щекою, а с тем местом щеки, которое было укушено. Ощущение остального тела возвращалось не спеша, первый сигнал пришел от ног – им хотелось двигаться. Боль в груди исчезла, воздух казался жидким, дряблым, безвкусным. Я старался вдыхать как можно больше воздуха, чтобы количеством заменить качество, – мне нужен был воздух плотный. Стало светать. Вдали у Невы виднелась полоса тумана. Захотелось надышаться туманом до сытости. Не знаю, где выхаживаются народы иных территорий Ленинграда, а у нас на Васильевском выхаживаются обычно по набережной Невы. Когда я мрачен, шля-

юсь от Крузенштерна до Горного института и обратно, ибо эта часть набережной почти всегда необитаема. Есть еще часть набережной между мостами Строителей и Тучковым – смутная часть, люди там не гуляют, там неуютно, словно тебя выгнали из дому, и вода под набережной вызывает желание нырнуть не выныривая. Мне же хотелось жить и быть счастливым, поэтому я пошел к Неве обитаемой – к сфинксам.

Над телом Невы полосой лежал туман. В стороне мрачных прогулок из тумана торчали кресты мачт, как кресты на кладбище. Сам Крузенштерн был черен, как силуэт, и висел в тумане, как привидение, не касаясь земли. Сфинсов туман не тронул, но как бы прибавил загадочности, растекшись кругом. Сфинксы были холодны и лукавы, их лица чем-то напоминали Елочку, – от холода и лукавства хотелось закутаться в огромный плащ, выставив укушенную щеку, чтоб остывала без меня. А плаща у меня не было – даже узкого, даже промокаемого.

– Елочка, Елочка, – упрекал я сфинсов, – зачем ты это сделала? Зачем?

Фонари вдруг погасли. Стало серо и тоскливо. Прыснул дождик – прибил туман, открылась вода Невы – плотная, как сталь. Сошел я по ступеням к воде, потом встал ногами в воду – вода была ледяная, озноб ударил по спине, и ни жара, ни укуса на щеке не осталось. Домой бежал веселым, как победитель соревнований. Уснул мгновенно. Снов не снилось. А утром проснулся – и началось сызнова: перед глазами кипень черемухи, Елоч-



ка танцует на каблучках, Крузенштерн торчит, как привидение, и грудь больно. Что там случилось за решеткой ребер? Уж не смерть ли придвинулась? Взглянул на часы – два часа пополудни: для умирающего девять часов она – многовато. Проглотил завтрак – холодную яичницу, мать, вероятно, думала, что встану в девять или раньше, оставила яичницу на сковороде под крышкой, – заботилась мать обо мне: ограждала от кухни, от стирки, разрешала только паркет натирать. Ценил я работу ее? Даже и не думал об этом. Думал об Елочке – неотвязно. За окном был пасмурный день. Во дворе механик Вова Ромашкин выворачивал внутренности у полуторки, руки у него по локоть в грязи и смазке, а в губах беломорина зажата. И мне захотелось курить.

– Вовик, – крикнул в форточку, – оставь курнуть!

– Перетопчешься! – крикнул Вовик.

Вова Ромашкин – друг детства, росли вместе, в школе учились одновременно. Вовик с детства мечтал шоферить и достал свою мечту – сделался автомехаником высокого разряда, а шоферить не бросил – совмещал профессии. Не механику ли разобраться в механизме моих ощущений и ночных пробегов? Может, всем и каждому хочется рассказать о себе механику, мне, по крайней мере, хотелось.

Вышел во двор и стал подбираться к Володе, как партизан, чтобы сперва взять окурочку у него из пасти. А он через плечо провещал:

– Ты что смурной сегодня?

– Не знаю, Вова. Что-то с сердцем неладно. Грудь больно. Вчера ночью в Неву полез, чтоб полегчало...

– Во дурак, – сказал Ромашка, – лежать надо, если сердце прихватывает. А лучше – коньяку попить, моему бате помогает... Попробуй...

– Мне не поможет.

– Людям помогает, а тебе – не поможет... Скажет человек, слушать нечего.

– Я вчера Елочку встретил, – признался я чуть ли не с кровью на губах..

Механик вытер лапы ветошью, сел на крыло полуторки и на меня покосился:

– А береза тебе не попадалась?

– Я упал, – сказал я другу детства. – Что делать?

– А ты не темнишь? – спрашивает механик. – Упал, так встань и отряхнись. Сердце болит – лечись. А мне на уши лапшу не вешай.

– Ромашка, Ромашка, все ты знаешь...

– Где уж нам уж, – обиженно сказал Вовик, – мы в университетах не обучались, нам ваши закидоны до лампочки.

Он меня нарочно обижал, люди любят над беспомощными издеваться – кто шутками, кто заботами. От обиды я начал свирепеть.

– Пой, ласточка, пой, прикидывайся валенком, мотай соплю на палец.

Механик посмотрел на меня в упор, как на врага, и спросил без вежливости:

– В глаз дать?

– Зашибеешься, – ответил я и спиной повернулся. Механик развернул меня за плечи, потом постелил газету на подножку полуторки и приказал:

– Садись. Закуривай. И хвастай.

Не знаю, как механики с моторами разговаривают, а со мною Вова поступил правильно: именно то сказал, что мне нужно было. Я расчувствовался, и целый час признавался о черемухе, о погоде, о явлении Елочка, о побеге через проходные дворы и о том, как она меня пригласила, а я не пошел.

– Ты что ж к ней не пошел? Девушка же звала.

– Она ж не шкура, – нахмурился я.

– Чудачок, баба тебя в избу зовет, а ты валишь...

– Елочка мне не баба...

– Не баба, так прачка или кухарка...

– Ты оглох, что ли? Я ж упал! Никогда такого не было...

– Масло вытечет, – сказал Вовик. – Прокладку надо сменить.

– У меня не вытечет, не беспокойся.

– Ну, шестерик сносится.

– У тебя в башке полуторка.

– А у тебя там дуб кудрявый.

– Пошел ты на ... цветочек...

– Тебя, точно, лечить надо. Хочешь коньячку? Помогает, без понта...

– У меня на коньяк башлей нет.

– Не горюй, я имею. Два четвертных и полтинничек. Частную «победу» бугру заводил за стольничек.

– Мне твое богатство и на праздник не нужно.

– Смекай, студент.

– Что смекать-то?

– У меня хата есть, понял?

– Хата?

– Ага. Предки в деревню рванули огород лопатить.

Батя садоводство под Ропшей взял, двенадцать соток, будут до понедельника грязь месить. Понял? Тащи свое дерево ко мне, и пусть подругу для меня волокет. Лады?

Мы сговорились с Ромашкой, что сварим хмелючее зелье – месиво ликера с водкой и сухим вином, прогретое на огне и сдобренное гвоздикой, корицей, лаврушкой и красным перчиком, – ни один мужик больше двух стаканов не выдерживает, а дамочки от стопарика готовы рухнуть навзничь.

Заговор наш ослепил меня. К Елочке мчался вприпрыжку. О черемухе позабыл. Об укушенной щеке – тоже. Сердце не болело, а трепетало от ожиданий.

Была суббота, день был суетный и хмурый. В гастрономах толкотня, как на демонстрации. Часа три потратил на закупы, а потом с авоськой товара примчался Елочку приглашать. Позвонил в ее звоночек, никто не открывает – дома нет никого. Что делать? Не отменять же мероприятие из-за случайной помехи! Подумал, оставлю записку с адресом, соседи ей передадут. На двери квартиры, в которой жила Елочка, десять звонковых кнопок пригвождены были, и у каждой имя владельца химическим карандашом обозначено. Долго я выбирал нужную фами-

лию, пока вдруг не прочел: Нежная. У Елочки фамилия Анисимова. Думал, напишу так: «С Нежностью передаю, что сегодня состоится праздник дня рождения у моего друга Ромашки, явка обязательна», а потом адрес. Позвонил кнопкой с фамилией Нежная, и открыла мне дверь Галка – официантка из столовой на месте бывшего ресторана «Лондон», – Галка нам в лимонадных бутылках винище к обеду продавала, а мы ей за это лишний пятерик подбрасывали. Галка на меня глаза растопырила:

– Как ты меня нашел?

– Я не тебя, я Елочку ищу. Звонился, никто не открывает.

– Ленку, что ли? Ты с ней ходишь?

– Не знаю, – сказал я, – может быть...

– Девка самостоятельная, – доложила Галка, – ты при ней не балди, она пьяных не терпит.

Все придумки у меня из башки выскочили, но адрес Вовы оставил и приписал, что жду в любое время. Вовик от плохих вестей взгрустнул.

– Все у нас не к рукам, Шурик.

– Не прет, – ответил я.

– Давай залудим по маленькой, за нелады. Нам горючего на сутки хватит.

– Налей, – согласился я, разочарования во мне не было, словно бы мне дали передышку для осмысления встречи с Елочкой.

Баланду все ж мы заварили, я варил – деревянным черпаком крутил в полуведерной кастрюле и корицу тряс из пакетика, аромат был на кухне хоть скончайся. Сосе-

ди шастали на кухню каждые пять минут – приносивались и головами крутили, но не просили попробовать. Вовик радиолу включил, стал музыкой на ребрах развлекаться, Петром Лещенко в основном: «Татьяна, помнишь дни золотые?» Лещенко звучал сентиментально. Я варил и из половника пробы брал – приятная дрянь получалась, тлела в желудке огоньком – вполне созвучно с Лещенко. А Вова кухарил в комнате: салат намешал, селедку распластал, сыр положил на блюдец, как лепестки фамильного цветка – ромашкой. Мы не стали остужать пойло, разлили по стаканам, чокнулись во здравие и рванули залпом. Комната у Вовика сразу уютной сделалась – мебель ласковая, хоть и скрипуча, абажур из шелка оранжевый, как улыбка, разрешал свету падать на стол, а в отдалении по углам было тенисто.

– Повторим? – пригласил Ромашка.

Второй стакан я пил медленно, пил и пьянел, пил и разглядывал углы комнаты поверх стакана. Когда глаза до двери добрались, чуть не подавился баландой, чуть не откусил стекло: в приоткрытой двери стояла Елочка, улыбалась, а в комнату не заходила. Я Вовика под столом ногой достал, мол, видишь, гостя пришла, Ромашка, как расцвел: вывернулся со стула в полный гвардейский рост и поясно поклонился Елочке. Лещенко в это время стонал про дымок от папиросы. Я корявыми пальцами старался расстегнуть пуговицы на пальто у Елочки, она не сопротивлялась, а Вовик за шкафом – переодевался, – он до прихода Елочки в гимнастерке браж-

ничал. Он потом для Елочки снадобье половником в рюмочку накапывал, а я угощал закусками – наваливал на ее тарелку салат и селедку, шпроты и сыр, и меня не останавливали. В комнате уже горячо стало, стены вроде бы выросли вверх, а стол скособочился. У Елочки улыбка шаткая. У Вовика прическа вздыбилась, как у боевого петушка. Должно быть, мы танцевали и разговаривали, но это догадки одни. В памяти у меня застряла озвученная картинка, как Елочка сидит в стареньком кресле, а Ромашка перед ней на коленях стоит.

– Поцелуй меня, – требовал Ромашка.

– Не хочу, – ответила Елочка.

– Целуй, сука, я перед тобой на коленях стою!

– Не буду, хоть на голове стой. Вы оба пьяные и мерзкие. Ромашка расхохотался.

– Саша, ты меня домой проводишь? – спросила Елочка, а в глаза мне не посмотрела.

– Он проводит, – уверил Вовик.

Мы ушли от Ромашки, он хохотал нам вслед. На свежем воздухе я сломался: вдохнул и почувствовал, что мир мутнеет и прячется, под глазами виделся тротуар, на который хотелось присесть...

Я проснулся от запаха весны. Комната была мне не знакома. Солнечный луч прошивал тюлевую занавеску, он был похож на солнечную трубку, в которой суетились пылинки. Памяти во мне не было, но и страха не было. Мир казался резким и звонким, голова моя была тяжела, рот не разжимался, как зак-

леенный. Подушка под головой была высока, мягка и горяча. Захотелось сползти с горячей подушки в горизонтальную линию, – дернулся и узнал свои плечи: весь я как бы состоял из звонкой головы и плечей на горячей подушке, как бы верхняя треть туловища была жива, поэтому хотелось быть лучше – с ногами, что ли. Доверия к себе я тогда не чувствовал, все чудилось, что конечности мои от меня автономны. Стал руками по одеялу ходить – узнавать себя, – и наткнулся на чужое тело, мгновенное прозрение, счастье и стыд смешались во мне: понял, что Елочка принесла меня к себе, вспомнил ее слова: «...я знаю тебя каждый день...» А покосился в ее сторону осторожно, даже опасливо. Елочка открыла улыбку и пальчиками побежала по моей коже.

– Ты не спишь? – дураком спросил я.

– Я у черемухи, – отвечала она, – уже лепестки осыпаются, отцветает... так быстро!..

– На Большом у черемухи? У колбасного?

– Конечно ж! – отвечала Елочка. – Эту черемуху моя мама посадила, когда нас на свете не было. У них был комсомольский субботник, озеленяли город.

– А где сейчас твоя мама?

– Умерла, – тихо сказала Елочка, – когда я в восьмом классе училась.

– А отец?

– Кончай допрашивать. Я живу одна уже пять лет. Отец только переводы присылает. У него другая семья...



– Извини, – почему-то сказал я.

– Ерунда, – сказала Елочка. – Мелочи жизни. Как ты себя чувствуешь?

– Виновато.

– Если б ты знал, как это приятно слышать...

...Черемуха отцвела. Пришло и прошло лето. Дни летели сладостно и любовно. Елочка дала мне ключ от квартиры и от комнаты, я почти что прожилвал у нее. Мать моя ворчала, когда мы встречались, мол, студент не мужик, ему заниматься надо, а не по бабам загуливать. Соседи Елочки ко мне привыкли – называли по имени. Галка Нежная доставала для нас цыплят через склад столовой, хотя мы ее не просили. А потом я ваньку сваял, ибо показалось, что мне все позволено. Елочка на работе была, мне ж в университет надо к одиннадцати, а проснулся рано. В квартире тихо, как на кладбище, соседи выбыли на труд. Умываться на кухню я шел в трусах – все равно никто не видит, а в кухне оказалась Галка Нежная. Она стояла одной ногой в раковине, халатик ее...

– Привет! – сказала Галка.

– Не помешал? – галантно спросил я.

– Ну что ты! Разве такие красавцы девушкам мешают?

Я ухмыльнулся, словно бы в красавцах состоял с самого рождения, и так играючи погладил девушку по задранной ноге.

– Действительно нежная, – сказал ей.

– Разве пальцем узнаешь? – ответила Галка...

Елочка неким чутьем уловила, что я познал Нежную, но упрекать не стала. Она была в тот вечер тихая – ни смешинки не уронила, а ночью во тьме сказала:

– Саша, женись на мне, я тебя люблю.

– Елочка, – прошептал я, – мне еще двадцати одного года не исполнилось.

– Исполнится, никуда не денется, а меня потеряешь.

– А ты куда денешься?

– А я выйду замуж за Ромашкина.

– Почему именно за Ромашкина? Есть еще Розов, Тюльпанов, Калганов – на свете уйма цветов...

– Потому что Ромашкин у меня на коленях поцелуй просил.

– Не дури, Елочка, – сказал я тогда.

– Оставь утром ключи на столе, – сухо сказала Елочка. – Мы расстаемся.

В ноябре было уже снежно. В ноябре Елочка выскочила замуж за Вову Ромашкина. Венчались они в снегопад, венчание было в церкви на Смоленском кладбище. Меня приглашали, но я на свадьбе не был по озлобленности своей на весь белый свет, который не прощает мне случайностей. Васильевский остров мне опротивел, жить в одном доме с Елочкой и Ромашкой я не мог. Мать меня поняла, она обменяла нашу жилплощадь на комнату в старом доме на Митрофаньевском шоссе. Мне казалось, что я сбежал с Васильевского, но от себя не убежишь...

Потом я стал географом, передвигался по стране в составах экспедиций, писал отчеты, мечтал делать канди-

датскую... Домой в Ленинград вернулся закоренелым холостяком, мыслей о прошлом во мне вроде бы не было. Однажды по делам был в университете и захотел пройти по памятным местам юности: был у Горного института, у памятника Крузенштерну, у сфинксов и на Стрелке Васильевского острова, был и у черемухи, хотя стоял сентябрь. Короткая боль кольнула в груди, напоминая, что я был скотиной, мерзавцем или глупцом. И тогда я отправился к родному дому навещать Володю и Елочку – чтоб повиниться.

Дворничиха Матрена узнала меня.

– Какой солидный дядя вымахал, – сказала она.

– А Вовик тоже солидным стал? – спросил я, так как Матрена проживала в той же квартире, что и Ромашка.

– Вовик твой уж два года как повесился, – ответила дворничиха. – Пил много. Бабу свою бил смертным боем, и возле дому хулиганничал. Нюра сказывала, что жена ему ребенка пригуляла, вроде бы на брюхатой женился, и простить не мог.

– А Елочка? А жена его?

– Жена с дитем куда-то в Мурманск уехала, к отцу, что ли... А ты разве знал жену-то Вовкину?

– Знал, да забыл, – признался я.

От родного дома я ушел к смутному месту – на набережную между Тучковым и мостом Строителей. Темная вода звала, но в воду я прыгнуть не захотел, повздыхал в одиночестве, а потом поклялся никогда на Васильевский не возвращаться.



## На пне за болотиной

**К**ончалось красное лето: в малиннике обваливалась переспелая ягода, стебли и листья побелели от старости; на выгорах, на развалинах и пожарищах дотлевал кипрей, у которого верхние стручки уже полопались, распуская клочья белого пуха, словно ватой намусорили по траве и кустам; и черная траурница мелькала над полями и дорогами, а в мокром ельнике разбежались стада волнушек. В кудрях берез появились желтые пряди, шум листвы изменил тональность, словно жесткая бумага шуршала, словно голос молодости оскудел. Грузди в космах травы были креп-

ки для взгляда, но рассыпались, когда лезвие ножа подсекало ногу, – червячки-грибоеды насытились перед смертью. На плоской болотине, где торчат тонюсенькие сосенки, возросли черноголовые подберезовики, их головы, как круглые камешки, виднелись на белесом мху. Огороды возле домов вывернули на землю клубни картофеля, гряды былых овощей стали черны и пусты. Грозы онемели еще в августе. Бабье лето текло погожим, но с ветрами, а дыхание у ветра было холодным.

Василий Николаевич Островский два раза в неделю ездил по грибы, хотя грибной нужды у него не было – жена его Доротея Павловна успела заготовить соленья и маринады, добывая грибы на рынке. Однако мужу она не перечила в грибной охоте, напротив, она готовила Василия Николаевича к походу: изобретала салатки и закладывала их в стеклянные баночки с крышечками, варила лимонад и наполняла им походную флягу, и, конечно ж, изготавливала бутерброды из черного круглого хлеба, домашних котлет и яичницы, которые обертывала белой плотной бумагой. Василий Николаевич сам заворачивал еду в газету, не обращая внимания на протест жены, – Доротея Павловна утверждала, что от газеты на продуктах остается грязь типографской краски, а краска эта ядовита или, по крайней мере, не полезна. Одежду для похода тоже приготавливала Доротея Павловна: она с вечера укладывала толстые шерстяные носки на голенища резиновых сапог, свитер и брюки вешала на спинку стула и покрывала их брезентовой курт-

кой, купленной у электросварщика – соседа-пьяницы. Плетеную корзину Доротея Павловна ставила на письменный стол, зная, что муж обязательно возьмет с собой работу – так она называла чужие рукописи, которые рецензировал Василий Николаевич. Она не ошибалась в заботе своей, потому что муж не имел внимания к быту, разрешая ей хозяйствовать, как Бог на душу положит.

Собственно, регулярные походы по грибы являлись привычкой Василия Николаевича работать на свежем воздухе, особенно в тех случаях, когда нужно было ловчить, выражая свое мнение, словно дыхание природы поднимало тайные покровы, разрешая Василию Николаевичу применять тайны для маскировки идей. И в этот раз Василий Николаевич надеялся, что сочинит приемлемую рецензию на повесть, хотя не был полностью уверен, так как имя автора неожиданно вошло в известность за какие-то полгода, причем Василий Николаевич был повинен в том, что не сопутствовал чужой известности, – он учинил скороспелый разнос первой книги этого автора, рекомендовал журналу не публиковать столь слабых творений, а писателю – не увлекаться внешним ходом событий, а думать... Повесть, однако, с чьей-то помощью внедрилась к киношникам и обратилась в сценарий, по которому весьма поспешно сработали фильм, кажется, многосерийный, – таковы слухи. Автор вроде бы знал, чего хотел, и знал, куда двигать свои творения, однако он был внимателен и великодушен и попросил книжное издательство направить новую книгу на отзыв именно критику Василию Островскому. Ва-

силию Николаевичу внимание автора не было лестным, так как дружбы с новой литературной звездой не искал и изменять своему вкусу и мнению не хотел. Но отказываться от рецензии он тоже не хотел, дескать, критик обязан делать любую критическую работу или не быть критиком. Когда-то, чуть ли не двадцать лет назад, друзья Василия Николаевича подшучивали над ним, дразня вопросами: зачем критик? чему критик? по какой причине? Вопросы были колочи и уместны, и Василий, в ту пору его еще не называли Николаевичем по молодости, восставал против критики критиков, говоря, что отрицание критиков равноценно отрицанию поэтов или прозаиков, так как разделение литературы по отделам вообще бессмыслица, — дескать, литературу создают литераторы, и каждый из них в свое время критик или поэт, или прозаик, или драматург — все зависит от силы мироощущения литератора в некий момент, когда литератор проявляет свою личность тем или иным произведением, жанром или методом. Василий Островский сам не единожды принимался за художественную прозу, но застревал на первых страницах и прекращал творить, понимая, что критические требования к самому себе в нем сильнее ощущения художника, что он сможет писать прозу, когда в нем уравновесятся желания и знание. Свой интеллект Василий Островский уважал, дорожил им и тайно гордился, не замечая, что таким образом сводит на нет свою теоретическую посылку. О себе он думал постоянно, но так, что критика самого себя не разрушала высоты, на которую он взбирался.

«Критика – оружие протеста, – думал Василий Николаевич в вагоне трамвая по пути к Финляндскому вокзалу. – Мои чувства не согласны катиться в колее, созданной умыслом писателя, мои мысли не получают питания от его текста, поэтому я протестую, протестовал и буду протестовать. Такова работа критика. По сути дела, уважаемый автор вызвал меня на литературную дуэль, пожелав моего освидетельствования новой книги, следовательно... следовательно, один из нас должен, по идее, погибнуть. Дуэли для того и создаются, чтоб доконать врага. Враги ли мы с уважаемым автором, вот в чем вопрос... И ежели враги, то в чем именно суть вражды? Или по-иному: должно ли быть вражде между нами?..»

Василий Николаевич отвлекся от мыслей, шагая плечом к плечу с разноликой толпой пассажиров; но под высоким сводом вокзала он оказался в растерянности – он не решил заранее, куда поедет по грибы. Сперва ему хотелось на Сестрорецкую ветку – к дому ближе, электрички чаще, а грибников там практически не встретишь, но подумал, что Приморским шоссе из Финляндии должны возвращаться государственные лица, не подлежащие критике, что – вдруг – состоится немая встреча его с черным лимузином, чей цвет напоминает больше о похоронах, чем о правах человека, вроде бы подписанных хозяином страны. Встреча прикончит его, критика Островского, ибо критик и права несовместимы. И Василий Николаевич решил на маневр: он взял билет до Зеленогорска, чтобы выйти к Щучьему озеру долгим и уют-



ным путем, зато не встретив ни одного писателя, которые в Комарове ходят стаями, как осенние утки. Почему он решил, что Щучье озеро нужно для его трудных раздумий, непонятно, так как обычно Василий Николаевич избирал место контрастное по отношению к сути произведения. Книга, предложенная на рецензию, была чрезвычайно утверждающая – утверждала непобедимость человека, рискующего жизнью ради родины, поэтому для контраста нужно бы Островскому пойти на Чертово озеро или на озеро Красавицу, так как в приключениях героя книги ничего красивого и ничего озерного не было. Василий Николаевич простил себе отступление от правил, созданных им самим, не по лености и не по недостатку времени, а оттого, что вблизи Щучьего озера, в той его стороне, где дачники бывают случайно, где дороги еще не покрыты асфальтом, где лоси позволяют себе безопасный отдых и любовные шашни, – у Василия Николаевича было любимое местечко – плешина на холме за болотинной, на которой медленно разрушался широкий пенёк сосны, корневища пня дугами и петлями вырывались из грунта, как щупальца спрута, что давало возможность присесть словно бы к столу, и, облокотясь на пенёк, смотреть на лес и озеро, на облака в небе и в воде, на камыши и рогоз и на уток, которые уже собираются кочевать к югу.

Подсознательно Василий Николаевич выбрал Щучье озеро еще вчерашним вечером, когда сказал жене, что пойдет по грибы, потому что самые неразрешимые, казалось бы, вопросы, разрешались им на пне без осо-

бых хлопот и потуг. В подсознании, вероятно, был определен путь к пню – долгий и утомительный, потому что Василий Николаевич от физической усталости наполнялся чуткостью и четкостью ощущений. На рабочем месте ничто не должно было отвлечь критика, – любимый пенёк был отделен от лесной дороги болотиной, подступавшей к холму с непривлекательной лысой стороны. Случайные грибники обходили плешивый взгорок, чуя, что добрый гриб на таком месте расти не станет.

Удачные решения успокаивают человека, и Василий Николаевич, сев в электричку, вздремнул, обняв корзину на своих коленях. На его счастье, электричка была только до Зеленогорска, соседи пассажиры не дали критику проспать – растормошили, он благодарно улыбнулся, поправил берет, сползший к затылку, и вышел на платформу. «Видимо, напишу что-нибудь, – подумал он, – коли так славно уснул».

Он вышел на шоссе и двинулся к востоку по самому краю, чтоб не раздражать водителей автотранспорта. Ветер дул ему навстречу, ветер был невкусным и холодным. Два километра Василий Николаевич терпел его напор и не выдержал – свернул к лесу прежде, чем было нужно. Лес укрыл его от ветра, опутал верхним шумом, который тек от еловых пик и сосновых макушек, утихая в приземном слое. Шум угнетал Василия Николаевича, рабом он, естественно, не делался, но на сопротивление шуму уходили силы собранности – он перестал быть внимательным к приметам леса, попал на исхоженные мес-

та, обличенные мусором цивилизации и даже ее преднамеренными испражнениями, круто повернул к северо-востоку и через час оказался в незнакомом и таинственном месте. За спиной у него остался еловый бурелом, через который идти было трудно. Впереди же открылись холмики, поросшие можжевельновыми кустами, к холмикам стлался ровный плотный мох, крадущий живые шорохи. Шаги критика стали беззвучны, он это заметил.

Взобравшись на гребешок ближайшего холма, Василий Николаевич замер, очарованный: от его ног уходил тусклый ковер мха в можжевельниковую рощу, росшую на уклоне к болоту, освещение в роще словно исходило от земли. Кусты можжевельника были черно-зелеными, они клубились без движения, а между живыми кустами торчали обескоренные трупы деревьев, похожие на скелеты доисторических животных. Эта роща жила как под колпаком – ни звука не раздавалось вокруг, ни тени движения не проносилось в воздухе, словно это был кусок иного мира, куда люди попадают в поисках неведомых знаний, а возвращаются в привычный мир мудрецами и кудесниками. В роще Василий Николаевич почувствовал, что в сапоге что-то смялось и натирает ногу. Он присел на дерево-скелет, снял сапог, помассировал ступню и поправил носок. Ему показалось странным, что в немой роще запах от сапога был вызывающе заметен, – почему? – не колдовство ли? Он втиснул ногу в сапог и топнул, но звук не родился, тогда Василий Николаевич вдохнул и заорал что было сил. Крик умер сразу, как

только он закрыл рот, – эхо в роще не существовало, неопределенная тревога стрельнула в груди критика и замерла. «Вот тебе и контраст для книги, – подумал Василий Николаевич – ни врагов, ни звуков, ни движения, ни любви к родине, ничегошеньки... Сравнивай со стрельбой, погоней...» Ему не хотелось никаких сравнений, его в этом месте не тянуло к раздумьям над книгой, он чувствовал рощу, как некий объем, куда его поместили для рассмотрения, как подопытного.

«А что, если попробовать писать тут? – подумал Василий Николаевич. – Мертвая тишина, никто не мешает...»

Но мешала именно мертвость пространства. Ощущение мертвости требовало откровений, смутные вопросы тоже хотели получить ответы, и Василий Николаевич решил «расставить» тревогу и смуту так, чтобы явилась нужная четкость понимания себя в данном месте, себя в отношении к автору книги и себя в отношении к содержанию книги.

– Давай рассуждать, – вслух произнес Василий Николаевич. – Что тут произошло? Сбился носок. Запах от сапога тухлый. К автору Семенову это отношения не имеет. Правда, нога страдавшая была левой, что курьезно, нельзя считать это намеком на то, что книга уважаемого автора написана левой ногой.левой ногой, честно говоря, писать куда труднее, чем правой рукой, не правда ли? Стиль «левой ноги» есть отличительное качество нашей литературы на протяжении последнего

десятилетия. Предтеча данного стиля была основана, нет, была заложена еще в ранних годах текущего столетия, закладка имела чисто идеологическое свойство. Художники современности восприняли фундамент стиля по-своему: Есенин повесился, Маяковский застрелился, а Кирсанов стал известным советским поэтом...

Слова скатывались в тусклый мох, не оставляя следа. Василий Николаевич прислушался и ничего не услышал.

— О себе ли я говорю? Или это были слова прокурора, который приговаривает уже казненных? Имею ли я право так говорить? В сущности, я взялся за перо, подхваченный бурей романтизма, возникшей в середине пятидесятых... В это время казалось, что стиль «левой ноги» приказал долго жить. Это было заблуждением. Вам, уважаемые товарищи, должно быть стыдно, что писатель обязан писать коряво, чтобы не портить общего стада авторов. Как вы казнили Пастернака!

— Ака, ака, ака, — неожиданно сказало эхо.

— Прекрасно, — произнес Василий Николаевич, — не нужно имен, ибо мы рассуждаем не об единичных случаях.

Эха опять не было. Бархатная тишина даже не звенела в ушах, словно шум кровообращения в его теле прекратился.

«Мне тут не место, — подумал он, — тут хорошо ораторам тренироваться — лишнего слова не скажешь, а вымастериться, так спаси и помилуй, леший за язык сцапает».

Василий Николаевич вдруг устал от немоты – от безответности, от отсутствия внимания от мертвенной аудитории. Он отправился, широко шагая, сквозь немую рощу, спустился в низину, которая широкой полосой окружала заросли на крутой спине большого холма. Через полчаса ландшафт изменился: под ногами мялись папоротники, крепкие сосны стояли редко, елочки сбились в куртинки по низинам, а уклон холма стал таким пологим, что подняться на гребень уже не составляло труда. Разброска сосен по склону навела Василия Николаевича на мысль, что для успешной работы ему не откровения нужны, а некий ритм – некий простор, в котором высятся пики мыслей, как сосны на уклоне. Он стал думать о ритме и пришел к выводу, что ритм должен быть противоположен ритму книги, а содержание рецензии должно включить некоторую обзорность литературы настоящего дня. Ритм в книге Семенова можно было назвать телеграфным: количество точек было почти равно количеству предложений, а ни восклицательных, ни вопросительных знаков в тексте не наблюдалось, поэтому Василий Николаевич стал придумывать предложения многословные, восходящие к вопросу или утекающие к подчиненному повествованию, меж которых мечтал вбить кльки восклицаний односложными словами «нет!» и «да!» Ему казалось, что широкое и спокойное повествование, обходя острова восклицаний, позволит давать автору ненавязчивые советы, делать мягкие упреки и, конечно же, мордовать, как бы не касаясь его личности.

На выгоре Василий Николаевич углядел колонию маслят и срезал несколько головок – срезы были масляно-желты, чисты и крепки. «То, что надо, – подумал критик. – Природа подтверждает мое желание. Не будь я прав, мне попались бы поганки».

Он взошел на холм и на гребне узнал место, вспомнил, что лесная дорога должна быть рядом. По этой стезе он придет к болотине, обойдя озеро. Он отыскивал тропу, а пошел стороной над дорогой по зарослям вереска, надеясь найти белый гриб. У межевого знака на просеке примятая охапкой жесткого вереска росла семья белых в три головы, сидящих чуть ли не на одной ноге, – две меньшие ножки втиснулись в мясистую ногу большака, однако втиснулись они с противоположной от давления вереска стороны.

Значит, подумал Василий Николаевич, их сжало, стеснило нечто в грибнице, там, под землею. Мы можем только догадываться о причине случая... Это так, это правильно. Жизнь семьи грибов в некой мере подобна жизни людской семьи: на них действуют скрытые силы, эти силы могут быть так направлены, что невольно открывают повреждения или болезненные стороны нашей действительности. Возникает прямой вопрос: может ли покалеченное, изуродованное соответствовать прогрессивным тенденциям нашей великой страны? На примере данного случая – да. Следовательно, парадокс: как могут прогрессивные тенденции создавать такие внутренние силы, которые калечат личность! Или еще серьезней: могут ли прогрес-

сивные тенденции не создавать разрушительных сил? Это не академические вопросы, товарищи, это прямая злоба дня. Возьмем, для примера, новую книгу автора Семенова. Автор уже получил заметную известность в стране. Новая книга, вероятно, увеличит его популярность – эта книга безоблачна – ни одной из двухсот семидесяти трех страниц не покрывают хмурые тучи подозрений или мутные тени скрытности. Она повествует о том, как молодой человек по призыву долга перед родиной, по призыву собственной совести со школьной скамьи стремится к определенной цели, овладевает иностранными языками, заканчивает восточный факультет университета, потом спецшколу и, окрыленный новейшими знаниями современной дипломатии, начинает работу в одном из консульств нашей державы на Ближнем, Среднем или Дальнем Востоке. Где-то там, где романтика гаремов и чалмы. Консульство – цитадель, клочок родной земли, – оно окружено стенами, за которыми что-то караулят неустанные враги. Враги, однако, почти незримы. За пределами здания консульства наш герой чувствует их жгучие взгляды, герой готов к неожиданностям, но некоторое время ничего не происходит: автор дает возможность читателю прижиться среди стихий опасности. Наконец, тайные агенты какого-то военного блока задумали устроить ловушку нашему соотечественнику – они подослали девицу, сделали так, что герой не мог не познакомиться с румяной девицей и, разумеется, не мог ею не увлечься. Она



в слезах поведала нашему герою о тяжком гнете... Нет необходимости пересказывать содержание повести. Там нет загадок, у героя нет сомнений, а смелость он привез из родной страны. Потом героя выкрали из ресторана и увезли в развалины древней мечети, спрятали в подземелье, где было оборудовано логово врагов. Под сильной инъекцией наркотика герой подписал бумагу, признавая себя сотрудником иностранной разведки. Вероятно, автор Семенов считает завязкой героической драмы подпись – признание героя, с чем легко согласиться, но не менее легко опровергнуть авторский расчет. Начинаются кровавые приключения при перестрелках, диверсиях и пытках. Герой использует во благо родины свое положение двойного агента – нашим и вашим, – что краше? Враги разоблачают его, а «нашим» он признался сам. Сюжет приказывает убить героя...

О, как хорошо быть дипломатом! Ни минуты покоя, ни минуты скуки, ни минуты отдыха. Герой проницателен, он разгадал даже замысел автора и скрылся в штурмовом море на легкой лодочке. Сутками позже его подобрала наша подлодка. Месяцем позже он был награжден орденом и переведен на преподавательскую работу. Финита ля комедия. Отметим, что в повести сочно и подробно описаны ужасы вражеских застенков и античеловеческие методы работы агентов враждебных стран. Так сочно, что невольно складывается впечатление, что автор просто-напросто тоскует о потерянной службе двойного агента, тоскует о роскоши ресторанов и кабаре, о

диких гонках на автомобилях, тоскует по отелям, по шлюхам и по выпивке... Короче, тоска об утраченном комфорте является стержнем повести...

Василий Николаевич замер на ходу, желая извлечь шариковую ручку и блокнотик, чтобы сделать заметку. Но тут же осудил себя за юношеский метод работы – за составление заметок, которые потом объединяются в цельное полотно статьи мостиками цитат. Он не достал ручку и блокнот.

Какие, к черту, заметки, подумал он. Такая наглядность, что никакие пособия не нужны. Главный, с моей точки зрения, вопрос литературы остается открытым или в данной книге – безответным. Скажем иначе: какое отношение к художественной литературе имеют подобные повести? Ведь это только на первый, на поверхностный, на невнимательный взгляд повесть рассказывает о мужестве, доблести и геройстве – о качествах личности, которые издревле считались положительными. Если быть чуть-чуть внимательней к тексту, возникает несуразность: может ли положительный герой даже под давлением неприятных, тяжелых или опасных условий стать своей противоположностью? Может ли он заручиться ложью, обманом и втираться в доверие врагу, чтобы выкрасть какие бы то ни было секреты? Все подвиги, совершенные в повести, полны именно такой ловкостью... Итак, может ли вор быть героем? Может ли обманщик быть верным сыном родины? Может ли распутник быть верным мужем? Уж не мистифицирует ли нас уважаемый автор?!

Не принимает ли автор читателей за группу младших школьников, кому стрелять и догонять важней и интересней, чем знать, в кого и по какой причине стрелять, важней того, что стрелять и убивать, по сути дела, синонимы? И еще мнение: если кто-то заинтересован в такой книжной продукции, если этот «кто-то» определяет читательский интерес, то не следует ли поменять его на более умного, более доброго, более порядочного руководителя искусства? Если у художественной литературы есть природная задача, то она состоит не в том, чтобы создавать увечных псевдогероев, а в том, чтобы распознавать давящие внутренние и внешние стихии, чтобы мир и любовь были доступны человеку – читателю...

Наконец Василий Николаевич увидел болотину под лысьм боком холма, подумал, что подниматься будет трудно, так как склон крут и безотраден, и сразу устал. Солнце выгнулось из облаков, оно было полуденным. Василию Николаевичу захотелось поскорей сесть к пню и выплеснуть на бумагу все свои раздумья и горечи, захотелось просунуть ноги под корни и найти уют, чтобы ноги отдохнули перед обратной дорогой. Он взбирался прытко, несмотря на усталость. И был награжден плотной прохладой воздуха, которая окатила его на гребне холма. Лесная паутинка налетела на щеку, – он раздраженно стер ее, как нелепую строчку. Мимолетная неприятность даровала Василию Николаевичу желанную трезвость, без которой литературный критик может легко стать ругателем, злопыхателем, однобоким или неловким расчленителем литературного

материала, а это Василий Николаевич считал не меньшим злом, чем пошлое и нарочитое умамливание известных имен. Усевшись у пня, подсунув ноги так, чтобы пятки были выше колен, чтобы кровь отливала от ступней, Василий Николаевич вытащил из корзины рукопись, снял газету и расстелил на пне как скатерть. Он решил перед работой подкрепиться, зная, что сытость смягчает раздражение... Погубив рыбный салат, он закопал майонезную баночку, а крышку завернул в газетный клочок, чтобы отдать жене. Он подумал, что зарывать тару неправильно, нужно бы унести стеклянную баночку с собой и выбросить в мусорный бак на платформе. Однако он оправдал себя тем, что не загаживает лес, что закопал баночку, а не бросил и не разбил. Сытый и умиротворенный, Василий Николаевич раскрыл папку с рукописью и стал быстро читать, помечая что-то на полях рукописи значками, понятными только ему. Потом, когда работа закончится, он передаст рукопись жене, и Доротея Павловна сотрет его иероглифы мягкой резинкой. Сытый критик несколько утратил боевой пыл и мысленно укорил себя и тотчас оправдал, зная по опыту жизни, что публикация мнения и само мнение – вещи разные, ибо публикация – явность, улика, а мнение – таинство, оно в неумелых руках может стать пороком или шарлатанством. Ему вспомнились редкие сосны по ровному уклону холма и мечта о широком ритме с пиками восклицаний, – он удовлетворенно улыбнулся, ему понравилось, что он придумал метод дуэли с автором, а не спрятался за стену компромисса.

Над Щучьим озером клочками висел туман – как бы застрял на камышах. Середина озера была открыта, как небо. В бухточке напротив холма две утки ныряли и выныривали, гогоча друг другу неведомые откровения и растрясая блеск брызг. За озером в Комарове жужжал голос мотопилы, куковала кукушка.

– Закурим и отметим, – вполголоса сказал Василий Николаевич, – что повесть легко читается. Хочешь не хочешь, а это уже заслуга автора. Тема повествования ультрасовременна, автор – сын своего времени, тоже плюс.

Сформулируем так, подумал критик, что первая книга принесла автору большой и заслуженный успех. Книга была экранизирована, и это не случайно! Текст очень кинематографичен, автор видит и слышит каждое действие, инструментовка окружающих предметов раскрывает подлинное знание обстановки. Вторая книга как бы продолжает событийность первой. Именно событийность является главным ярким качеством прозы... Неплохо, а? Придаться не к чему. Продолжим приблизительно так: событийность имеет и неприятную сторону, когда эта событийность шаблонна, когда факты жизни как бы запрограммированы и уложены в картотеку, откуда автор выхватывает их, как фокусник... Фокусник, конечно, тут ни при чем, мы подчистим текст позднее, а теперь отметим, что шаблонность или повторяемость одних и тех же фактов может разрушить читательскую заинтересованность. Умение автора из-

бегать «знакомых» ситуаций очевидна, жизненный опыт помогает писателю разрешать такие задачи...

Василий Николаевич придерживал рукопись левой рукой, а правой скоро записывал в тетрадь, стараясь писать разборчиво, чтобы легче было перепечатывать, чтобы второй этап работы с рукописью не граничил с дешифровкой египетских иероглифов. Он писал о том, что жанровые сцены удаются автору, что им веришь, хотя выполнены они без прикрас, жестко, иногда – жестоко, но без трусости, и это, скорей всего, соответствует правде случаев. Еще он писал о том, что трудовые будни служащих посольства показывают здоровую атмосферу товарищества и взаимоподдержки, без которых невозможна работа в окружении враждебной среды. За два часа стараний он исписал не менее десяти страниц в тетради, вставляя в текст номера страниц книги, откуда он намеревался взять примеры. Он утомился от однообразной позы и от потока слов, которые казались ему суррогатом истины, – а утешал себя тем, что умный человек, безусловно, поймет иронию критика.

К электричке Василий Николаевич шел, как на крыльях, он соскучился по городу, по своему красному финскому креслу у письменного стола, по горячему чаю с шиповником, по книжным полкам напротив письменного стола и по виду Финского залива за окном, где висит плоский простор неба над плоской водой, где радиомаяк в Лахте подмигивает огоньками по ночам.

Василий Николаевич, когда смотрел в окно, сидя на краю рабочего стола, как бы поднимался над суетой и мерзостью нужды, как бы очищался для высоких мыслей – он был готов к подвигу откровения и пророчества и к жертвенной заботе о каждом живущем. Вспомнив об ощущении своей рабочей комнаты, он загрустил. Надо бы найти способ, думал он, который помогал бы держать душевную грязьцу на удалении от дома. Когда-нибудь я напишу эссе о критике, который служил в литературе за деньги, подобно мне, а мечтал о дне, когда для жизни будет достаточно одного таланта, но молился, чтобы этот день не наступил. Такой сюжет обеспечит мне долгую дорогу в самые удаленные края отчизны... Почему я не поверил Володину в 1959 году? Почему его предвещание показалось мне остроумной рисовкой? Почему я не услышал истины в его словах? Почему я сейчас боюсь этой истины?..

На платформе в Комарове было безлюдно – это несколько ободрило Василия Николаевича, так как он не чувствовал себя удовлетворенным результатом работы на пне, не чувствовал себя победителем дуэли с автором Семеновым, хуже того, не чувствовал себя участником литературной дуэли, поэтому не хотел смотреть людям в глаза. Подкатил электропоезд, вагоны были пусты – только специальный запах железной дороги наполнял их, – и это было на руку критику. Он сел у двери последнего вагона, чтобы выйти на Ланской и трамваем вернуться домой

на Наличную улицу – он боялся толпы на ярко освещенном вокзале и толпы под землей в метро. Он знал, что трамваем доедет до дому уже в синеве сумерек, а в сумерках легче терпеть стыд.

К Ланской в электричку набилось народу так плотно, что Василий Николаевич с трудом прорвался из тамбура на платформу, он утерял в борьбе несколько листов папоротника, которыми покрыл свой малый грибной трофей, но был рад, что привезет жене семью беляков – доказательство труда и охоты. Сам он был смят и втиснут в самого себя невидимым напором жутких сил противника, противоборствовать которому бессмысленно.

Доротей Павловна встретила мужа на пороге квартиры: она подглядела, как он входил в парадную, слышала бег лифта, поэтому отворила дверь и ждала. Ничего необычного не было в поступке жены, но Василий Николаевич смутился и, не чувствуя на своем лице улыбки, протиснулся мимо нее в кухню.

– Что-то не так, Васенька? – спросила Доротей Павловна...

– Что ответить, друг мой? – вопросом ответил Василий Николаевич.

– Так не отвечай.

– И молчать не могу, – сказал он. – Такое ощущение, что вляпался я в дерьмо и пригашил его домой на своих ногах.

– Неудачно работалось, да?

– Напротив. Очень удачно. Ночью приведу это в чистый вид и отправлю лично автору...



Он заметил, что жена как-то очень подобрана, словно тревога сжимает ее со всех сторон, но смять не может. Тогда Василий Николаевич вынул семью белых грибов и положил на кухонный стол.

– Посмотри на них...

– Красивые грибы, – сказала Доротея Павловна.

Он понял, что жена будет успокаивать его, будет ходить, как невидимка, предупреждать желания и смотреть широкими тревожными глазами, как за больным. Это было чересчур, он не заслужил такой заботы с ее стороны.

А она ждала его возвращения оттуда, как ждут мужей у проходной или у тюрьмы. Василий Николаевич наполнился горечью.

– Ты напрасно меня щадишь, Дора, – сухо проговорил он, – я не стою пощады, не нужна мне пощада...

– Извини, голубчик, – тихо сказала Доротея Павловна.

– Тебе не в чем виниться. Сегодня, как никогда, мне видно, что стою на краешке пропасти, точнее, стою между двух пропастей, летать не умею, а падать ни в одну не хочу... Ходил, думал, у пня сидел... Написал, конечно, как не написать! Могу похвастаться, автор ни черта не поймет в моей рецензии, кроме хвалений, а если что поймет, то доказать ничего не сможет – нет улик.

– Каких улик, Васенька? О чем ты говоришь?

– Послушай, о чем... Жена должна знать. Больше десяти лет кормлюсь от литературы, и мне стыдно. Стать рупором так называемого соцреализма не могу – противно. Провозгласить нечто противоидейное – тоже сил нет...

Повторяю, я между двух пропастей на жердочке, вот-вот куда-нибудь свалюсь... и не станет критика Василия Островского, о котором я мечтал в юности. В этом драма моя. Мне уже сорок три, зрелость должна быть, а нет зрелости в душе, старею не взрослея. И в работе так же: молодой автор, молодой критик. Молодой... – лысина со сковороду. «Пишите, как хотите, мальчики, – говорил Володин, – есть захотите, партия вас научит, как надо писать!» Нет во мне мудрости ученичества. Пишу, как требуют, а хочу писать, как на духу, а духу-то не хватает. Во-первых, не опубликуют. Во-вторых, погонят из Союза в шею... Тогда – что, опять в токаря податься? А двадцать лет жизни куда деть?

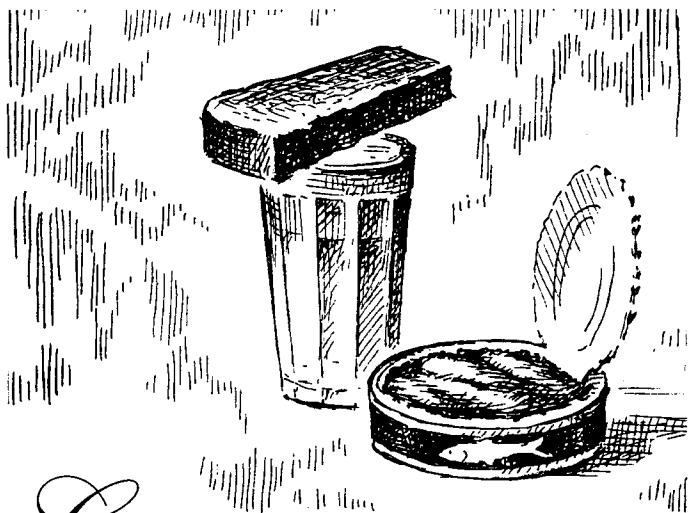
– Ты устал, Васенька, – довольно твердо сказала жена. – Иди-ка в ванну, вода, должно быть, остыла. Я не отвечу тебе, Вася. Покаялся, и хорошо. Ты для меня муж. Мне безразлично, кем работает муж: токарь – хорошо, критик – тоже хорошо. Одно знаю, ты совестишься, а это большое дело: не может совестливый человек быть мерзавцем, поэтому я горжусь, что ты – мой муж.

– Может, душа моя. Каждый может быть подлецом... И твой муж тоже...

– Не поверю. Каждый может, а ты – нет.

– Спасибо, душа моя. Знаешь, что сказал один мудрец о Боге? – неожиданно спросил жену Василий Николаевич. – Если бы не было, Его нужно было бы выдумать. Как о жене сказано. Если бы тебя не было, я бы тебя выдумал.

– Невыдуманная лучше, – сказала Доротея Павловна и закрыла дверь ванной за спиной мужа.



## Скучная жизнь

Служивцы готовились к похоронам с тех пор, как жена Ивана Васильевича Бессмертного пришла в заводоуправление получить квартальную премию за мужа по доверенности.

Кассир Марина Николаевна приняла доверенность и подколола к ведомости по выплате, а считая деньги, спросила:

– Иван Васильевич скоро поправится?

Глаза жены Бессмертного широко открылись, как от удущья, она дернула подбородком, словно что-то проглотила, и тихо сказала:

– Никогда.

– Как это так – никогда? Это вам врач так сказал?

– Врач сказала, что метастазы разошлись во все внутренние органы, что больше двух месяцев ему не прожить...

И заплакала.

– Он что, все еще в больнице? – невежливо удивилась кассир Марина Николаевна.

– Нет, он дома, – ответила жена Бессмертного. – Он ничего еще не знает... Господи, хоть бы скорей все это кончилось!

Спрятав деньги в сумочку, жена Бессмертного быстрыми мелкими шагами протопала к лестнице и скрылась, а кассир Ломакина глубоко вздохнула от сочувствия к самой себе, ибо она была влюблена в Ивана Васильевича безответно, хотя надеялась разгоношить его, точнее, совратить, подпоив на банкете в честь международного праздника трудящихся. Марина Николаевна уже делала попытку на 8 Марта – предложила ему выпить на брудершафт, а он дико зыркнул на нее и отказался, сославшись, что чувствует себя не поцелуйно. Десятого марта главный механик Бессмертный на работу не вышел. Вечером того дня он звонил директору домой из больницы, сказал, что слег, вероятно, надолго, что пусть подыскивают человека, а временно исполнять его должность может Фима Дворкин, студент-вечерник, толковый парень.

Директор Воронов вспыхнул:

– Сколько у тебя ИТР в отделе? Десять? А в цехах? Всего десять? И из десяти никого русского не можешь предложить?

– Я же сказал – временно, я знаю, что ты евреев не любишь. А для отдела – лучше Дворкина, тебе же легче...

– Уговорил, сионист, ставлю Дворкина с условием, что ты через месяц вернешься.

– Я не вернусь, Дима, ищи человека, – сказал Иван Васильевич

– Молчать! – рявкнул в телефон Дмитрий Сергеевич, думая, что шутит. – За такие разговоры премии лишу!

– Дурак ты... – сказал Бессмертный и положил трубку.

В середине марта по подсказке директора Воронова профком выделил некое количество денег для визита к больному. И сослуживцы сбросились кто что мог – образовалась сумма вполне приличная – двести пятьдесят рублей. На летучке Воронов сказал, чтоб навести главного механика в больнице, чтоб ему, механику, фруктов купили, как положено, а две сотни в конверте чтоб жене Бессмертного отдали.

Навещать в больницу отправилась председатель профкома Конорядова с главным кассиром Ломакиной, от отдела главного механика пошел Ефим Дворкин – заместитель, так сказать...

Иван Васильевич лежал в палате возле окошка в углу, если смотреть от двери, так не сразу увидишь, все во-

семнадцать коек рябили. И больные рябили – они мотались по палате, ища занятия: кто выпить хотел, кто в карточки мотнуться, а иные двигались по приказу врача – им лежать не давали, тем, у кого была операция грыжи или аппендицита. Вероятно, про Ивана Васильевича доктор «забыл» – его не беспокоили, поэтому весь светлый день он смотрел весну в экране окна.

Сослуживцев он встретил улыбкой, на фрукты и не взглянул, а бутылке коньяка, завернутой в белое вафельное полотенце, обрадовался.

Галина Михайловна Конорядова отрапортовала пожелания здоровья от лица коллектива, которые Иван Васильевич, кажется, и не слушал. Фиме Дворкину он велел не бояться директора, переть на него, если это поможет производству, а на главного кассира Марину Ломакину смотрел с добродушным любопытством. Они пытались шутить все вместе, и никакой шутки не получилось. Только уходя, главный кассир согнулась над Бессмертным, прощаясь, и прошептала:

– Все равно я тебя изнасилую, вот увидишь.

– Я глаз не сомкну, – ответил он, и оба захохотали.

После визита в больницу о Бессмертном на производстве забыли, не напрочь, конечно, а как бы технологически – его подпись не участвовала в процессе производства. В бухгалтерских бумагах он еще функционировал, а в живом деле его заменил Дворкин, и это казалось нормой. И вдруг жена главного механика с доверенностью и с трагической новостью...

Марина Николаевна Ломакина, заперев кассовое окошко, выбежала в бухгалтерию, подлетела к главному бухгалтеру Баумгартен и нашептала:

– Бессмертный умирает, у него рак в последней стадии... Ты не против, если я на часок исчезну?

– Чтоб я так жила, – загадочно ответила Баумгартен.

Марина Николаевна скоренько скрылась, первым, к кому она кинулась сплетничать, был директор Воронов, друг Бессмертного, ему она выложила факт умирания друга и подчиненного, зная, что Дмитрий Сергеевич обо всем позаботится. Она не представляла себе заботы эти, точнее, о них – о заботах не думала, она была переполнена ветром перемен в предпраздничной декаде и уже как бы видела алые знамена, окантованные черным крепом.

– Ты уверена, что рак? что метастазы? – спросил директор.

– Жена же сказала...

– Хорошо, я проверю, – сказал Воронов. – Ты волну очень-то не поднимай, поняла?

– Шутишь? – кивнула Марина Николаевна и отправилась в отдел главного механика к Дворкину.

Контора главного механика помещалась вне заводоуправления, пришлось идти через заводской двор по лужам, уворачиваться от машин и погрузчиков, кричать «Здрасте», отвечать на шутки встречных «мужиков» – так она называла рабочих, заигрывающих с нею, пока, наконец, не скрылась за дверью конторы механиков, что была бок о бок с электроцехом. Ефим

Дворкин был на месте – перекуривал в одиночестве, поглядывая на часы на стене за окном, ибо подходило время обеденного перерыва.

– Фимочка, – сказала Ломакина, – у меня неприятная новость...

– Ты выходишь замуж, – попытался угадать Дворкин.

– Никогда, – сказала Марина Николаевна.

– У человека не бывает «никогда», у человека всегда «когда-то», – философски отнесся Дворкин к реплике главного кассира.

– Я хотела сказать, никогда не догадаешься, что за новость, а ты – остришь. Будешь остричь, директору пожалуюсь – он тебя никогда главным не оставит.

– Он и не собирался меня главным держать, я – временный, как всякий человек на земле.

– Ты послушай...

– Если будешь говорить, я стану слушать, весь обед могу слушать... поцелуй меня в затылок.

– И не смешно, – сказала Ломакина. – Бессмертный при смерти, его жена сейчас за него квартальную премию получила. Говорит, скоро конец... Так что будешь главным теперь.

Ефим Дворкин впервые посмотрел в глаза Марине Николаевне – глаза у него были водянистые и невыразительные, как бы отсутствующие глаза, а Ломакина увидела зрачок – глубину, дыру во что-то непонятное и ужасающее, смутилась и проговорила:



– Тебя никогда не поймешь, серьезно ты или шутишь...

– Это судьба, – сказал Дворкин, – шутить очень серьезно. Ты думала, что удивишь меня или обрадуешь новостью, а мне скучно. Понимаешь? Мне теперь – пока найдут главного механика – надо тянуть за двоих да еще подготовиться к похоронам... Понимаешь? Жена у Бессмертного – истеричка, она всю жизнь за ним пряталась, ей без него – труба... Кто она будет? Не девка, не баба. Могут даже пенсии не дать, так как она работоспособна и пятидесяти еще нет. Ой, да пошли они все к черту, или еще дальше... Накорми меня обедом, я деньги дома забыл...

– Фима, а ты жениться думаешь? – вдруг спросила Ломакина.

– Разве об этом думают? – удивился Дворкин. – Это переживают как стихийное бедствие...

– Наговорил на комплексный обед, не больше, – сказала Марина Николаевна. – Вставай с кресла, лентяй, идем кормиться.

С этого дня и завертелась подготовка к похоронам.

Дворкин поручил Зине – табельщице отдела – сделать список для складчины в пользу похорон Бессмертного. Заведующему хозяйством написал шпаргалку о том, где у кого узнать о возможном месте захоронения будущего покойного, а бригадиру электросварщиков нарисовал на ватмане оградку и колонку для могилы... И как-то само собою получилось, что о будущих похоронах стали думать в рабочем порядке, что ли, – ежед-

невно, без душевного напряжения, без жалости, без горя, без сочувствия. Только директор Воронов исхитрился вырвать вечер перед Первомаям и навестил Бессмертного. Они выпили коньячку, сыграли партию в шахматы и намолчались, так как жена Ивана Васильевича торчала в комнате вместе с ними, ворочала темными глазами, как испуганная корова, и вздыхала. Когда Воронов поднялся, прощаясь, Иван Васильевич, не глядя на супругу, сообщил:

– Я пойду Димку провожу.

И первым вышел из квартиры.

Они вышли к парку или к будущему парку – в Сосновой Поляне еще не успели разбить парк по всем правилам садоводства, однако дорожки были, на дорожках кое-где стояли скамейки, а на пустых газонах то тут, то там торчали кусты и даже деревья. Воронов оживился на улице.

– Слушай, Ваня, кончай хандрить. Давай рванем в кабак, или – еще лучше – закупим кое-что и к Марине. Она тебе кровь очистит, она тебя разогреет, все твои кулачковые механизмы запляшут...

– Будет тебе, – пресно усмехнулся Бессмертный. – Или сам не нагрелся?

– Не прикидывайся святым, Ваня...

– Где уж мне во святые, мне б остатние дни прожить как хочется... Отгулял я, Димочка, отбаловал, подыхать велят. Моя кляча паникует – разговаривать со мной боится, думает, я не знаю, что рачок меня ест... Надо ж такое поиметь! Лучше б испанский воротник... хоть почетно...

Воронов старался быть серьезным – все ж разговор о болезни и смерти, однако раздражение Бессмертного его сместило, и поэтому Дмитрий Сергеевич кривил губы, сжимая их лепешкой, пока не захихикал в открытую.

– Ваня, слушай, а вдруг ошибка?! Вдруг у тебя кишка слиплась – ты ж не жрешь ничего! Хочешь, проверочную комиссию учредим? Начнем с анализов, закончим пробой. У Маринки подруга есть – девица с двумя детьми... Пошалим, а?

– Уймись ты, – усталым голосом сказал Бессмертный. – Пожалел бы Марию Антоновну, у нее щека дергается, на тебя глядячи.

– У ней бы шея задергалась, если б мой шофер не таскал ее по кустам.

– Что скажет человек, – покачал носом Бессмертный, – слушать нечего. Она ж у тебя доктор наук, не так ли?

– Ученая степень не мешает ей блядовать, Ваня. Пусть ее, лишь бы не скучала.

– Разве от скуки спасешься? – проговорил Бессмертный.

Они проходили мимо зарослей, которых не коснулась безумная рука паркового хозяйствования. Фонари тут стояли редко, дорога казалась темной и ровной, а заросли – черной стеной, только у фонарей высвечивались отдельные хилые стволы с тонюсенькими голыми веточками. Наконец, им попалась скамейка – почти целая и почти чистая.

– Сядем посидим? – сказал Воронов, трогая деревянное ребро скамейки и брезгливо стряхивая пальцы.  
– Тут как в саду – кругом метлы насажены.

– Дай покурить, – попросил Иван Васильевич.

– Тебе нельзя, родной. Терпи.

– Мне, Дима, уже все можно, только вот ничего не хочется – ни баб, ни гуляний, ни работы. Коньячок вот веселит, да уж больно дорог, подлец, жалко за него Ленина отдавать...

– Хоть залейся, Ваня, я обеспечу. Привезут тебе в молочном бидоне под пломбой. Помнишь, твои ребята на винном заводе насос монтировали? Я с винников денег не взял, договорились товаром рассчитаться, понял?

– Что уж не понять... – вздохнул Иван Васильевич.

– Рука руку моет, а спину – чешет.

Бессмертный курил, закинув голову и глядя в темное небо, где изредка мелькали маленькие звездочки, словно прокалывая туши туч. Дмитрий Сергеевич тоже вздернул подбородок вверх и косил – то на друга, то на тучи.

– Что ты там увидел, Иван? – спросил он.

– Разве расскажешь, – ответил Бессмертный.

– Но ведь что-то видишь? Точно? Свое видишь, мне недоступное. Расскажи, Ваня, поделись.

– Вижу жизнь, Димочка, а знаю – смерть, – тяжело проговорил Бессмертный. – Это как на рыбалке, друг мой, сидишь над поплавком, вода блестит, камыш шуршит, а под водой и в камышах тайны прячутся. Глянешь вверх – облака кружат, за ними синь бездонная и

тайна. И жить хочется, и до тайны дознаться... А тут идет чужак, усмешается: что, мол, рыбка-то ловится или нет? Не должна бы – дождь скоро, перед дождем не клюет. Наговорит и пройдет стороной. И вроде бы ничего не случилось, а все испортилось, и никакой тайны уже нет ни под водой, ни в небе – одна скукота.

– Хочешь на рыбалку? – вдруг спросил Воронов.

– Хорошо бы...

– И поезжай... Знаешь, я дачу за Зеленогорском почти достроил, печь есть, плита газовая... Красавица недалеко – знаешь, озеро?

– У тебя ж дача в Репине, начальник, зачем вторую да еще тишком?

– Для внуков, Ваня, когда обзаведусь ими. Сам же сказал – скукота, вот от скуки имуществом обрастаю, когда-нибудь пригодится. Уже пригодилось – едешь рыбачить?

– Машину дашь, тело перебросить?

– Какие разговоры, родной мой. Я к тебе буду заскакивать, еслипустишь. Телефона, жаль, не подвели, паразиты, взятки ждут: директор, дескать, карманы без дырок, раз телефон нужен – гони монету.

– Я бы телефон все равно оборвал, Дима. Надоели помехи и разговоры надоели.

– И я надоел?

– И ты, соколик. Болтаешь, как на диспетчерском заседании. Отвези меня на дачу до майских...

– Там снег еще...

– Вот и славно, подснежники встречу, посмотрю, как деревья просыпаются, как рыбка мелочь шустрит... может, и до грибов доживу...

28 апреля директор Воронов перевез друга на дачу, шоферил сам, чтоб свидетелей не было. Нина Марковна, жена Бессмертного, молчала два долгих часа пути, пока не увидела дачу, а потом разохалась, восхищаясь всем добром – и дачей, и мебелью, и березовыми дровами. Вокруг дачи на участке лежал снег, и у соседей огородики были под снегом, одни дороги и дорожки желтели от россыпи песка, частях, чтоб население не скользило и не падало. Воздух за городом был холоден и прозрачен и напоен тонким ароматом хвои. Иван Васильевич улыбался, чуть морщась.

– Нравится тут, Ваня? Что ты кривишься? – спросил Воронов.

– Побаливает внутри, Димочка, сигналит как бы...

– Боишься?

Бессмертный даже не усмехнулся.

– Бояться – что? – пора, так пора. Надышаться б... наглядеться про запас...

В июне Бессмертный был еще жив, но уже раздражался и кричал на жену, чего не позволял себе пятнадцать лет совместной жизни. Вода в Красавице потеплела, на берегах появились дачники, и Иван Васильевич стал добираться к озеру ранними утрами, когда еще птицы не веселились, проснувшись. А 7 июня он исчез. Нина Марковна оставила его одного – по его истери-

ческой требовательности, оставила и оружие одиночества – фляжку с коньяком, которым Иван Васильевич спасался от болей. Вернувшись с приготовленным завтраком – манной кашкой, котлеткой из протертого белого мяса и гроздью азиатского винограда, – вернувшись к озеру, она супруга не увидела, стала искать и не нашла, и, не зная, что подумать, побежала в поселок Ильичево, где был телефон-автомат. Розыски с милицейской собакой не дали результата – нашли только пустую фляжку. Искали и в озере – понапрасну.

Осенью у Нины Марковны оказался ухажер, за которого она вышла замуж без регистрации, так как документа о смерти мужа у нее не было.

Воронов Дмитрий Сергеевич, директор завода, ругался пьяным в квартире Марины Николаевны Ломакиной:

– Пропал без вести, как на фронте, даже подохнуть по-людски не мог. Что мне с оградкой делать? Себе оставить?

– Не один ты жалеешь, что Ивана не стало, – успокаивала его Ломакина. – Его все любили, все его помнят..

– Вот дура-то, дура и дура, понятно, почему Ванька на тебя не полез – с тобой от скуки сдохнешь...

На заводе Воронов издал приказ, в котором Ефим Абрамович Дворкин назначался исполняющим должность главного механика, а встречаясь, в глаза ему не смотрел, утешая себя тем, что выполнил желание друга.

Фима Дворкин от повышения в должности не повеселел, скучать стал в своем кабинете, держа в ящике

письменного стола фотографию Ивана Бессмертного, сделанную на торжественном собрании, посвященном подведению годовых итогов завода. Иван стоял, держась за древко переходящего красного знамени, за его плечом виднелась половина лица начальника отдела кадров и чья-то мужская рука с растопыренной пятерней.

Ефим Дворкин на директора не обиделся, когда Воронов по телефону спросил:

– Чем занят?

– Скучаю, – ответил он.

– А в Израиль не собираешься?

– Мне все равно, где скучать, – сказал Дворкин.

– Прими соболезнование, – сказал директор, – и скучай за двоих.

– Как скажут, – уклонился Дворкин. Положив телефонную трубку, он посмотрел в окно и увидел главного кассира Марину Ломакину, которая трепалась с водителем автопогрузчика, уцепившись за его рукав. Подол юбки кассира мотался, вздымаясь, мелькала сорочка и зажимы на капроновых чулках. Из цехов выходили толпочки рабочих и топали к столовой. На толстой проволоке между цехами мотался огромный лозунг:

---

**Перевыполним годовое задание на 7,5 процента!**

---

Был конец апреля – прошел почти год, Бессмертного все еще не нашли.





## СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ ДОННЫ АННЫ

...и белел в тумане посох странный.

*М. И. Цветаева*

**Б**ыл солнечный март с мягкими кудрявыми облаками в синем небе.

От солнечности дней и от легкости облаков в ней жила веселая легкость человеческого существа, которому бесстрашно быть, которое постоянно действует, а каждое действие возвратно дарит этому существу смелую силу. Она понимала свою силу – ей даже казалось, что солнечные дни позаимствовали у нее светлую неутомимость, отчего стали продолжительней, – это ощущение

роднило ее с влажным воздухом, который неведомым способом в эти дни был пропитан запахом фиалок. Букетиком фиалок она украсила лацкан своего капронового пальто с пушистым белым воротником, и мысленно упрекнула милые фиалки за то, что они придают ее жизнерадостному лицу некую распутную легкость. Скорее всего, так и было – фиалки виноваты в том, что в воздухе слышится легкий аромат желаний, – и фиалки послужили значком мимолетного знакомства.

Она стремилась легкими ногами навстречу солнцу. Она шла краем тротуара – по поребрику, чтобы не быть стесненной встречным потоком пешеходов и, одновременно, знать некую опасность – некий условный риск – от шумного транспорта, что выбегал из-за спины, обгоняя ее, – и она тайно гордилась этим незначительным риском. Она демонстрировала себя – старалась, чтобы каждое ее движение было замечено прохожими, но и старание это было легким, игривым и привлекательным. Она демонстративно не обратила внимание на визг тормозов, на цвет машины, а когда услышала низкий и призывный голос: «Девушка с фиалками! Девушка с фиалками!» – быстро улыбнулась и храбро ответила:

– Я вас внимательно слушаю.

– Садитесь, подвезу, – прозвучал баритон владельца машины, и перед ней запахнулась дверь небольшого авто.

– О, дядя с машиной! Дядя с машиной! – рассмеялась она. – Вы, без сомнения, склонны к победе над

бедной девушкой, а ваше оружие на колесах без боя покорило меня. Я почти готова стать пленницей... или рабой? А? Однако наши пути на земном пространстве протекают параллельно, и в пределах видимости не могут соприкоснуться. Прощайте, автопатриций! Я с детства привыкла ходить пешком, клянусь, если вы сумеете изменить мою приверженность пешеходам, то я стану вашим автоклиентом...

– Послушайте, студентка, вы расходуете весь запас знаний в первой фразе...

– Вы опять ошиблись, – перебила она. – Прощайте.

Она вбежала в булочную – выпила кофе с пышками, потом вспомнила, что хотела зайти в книжный магазин – поискать приличное издание в подарок подруге, так сказать, совершить тайную взятку, которая напоминала бы, что в нужную минуту одаренный должен стать дарящим, – но в магазин не пошла (поленилась), а вышла на круглую площадь перед Фонтанкой, где сучает бюст Ломоносова, и села покурить на серую скамейку.

Странное это состояние – курить в сквере ранней весной в солнечную погоду: сладостно дышать, блаженно задрать голову и глядеть ввысь; звуки не летят со всех сторон, а как бы скатываются с купола чистого неба вместе со светом солнца – и от этих звуков, от дыхания и от блаженства слегка кружится голова, – и строения городских зданий делаются невесомыми, как морские растения, едва прикрепленные к почве слабой подошвой, – походки людей в такие дни кажутся ми-

лыми – игривыми и нелепыми – так двигаются крохотные щенки или котята, зато их лица кажутся полными счастья. Когда она слушала падение звуков с высоты, ее снова настигло ворчание мужского голоса:

– Девушка с фиалками! Эй, девушка с фиалками! Счастливым случаем привел меня сюда – я вновь рядом с вами. Я могу смотреть на вас. Я хочу слышать вас. Вы молчите? Счастливый случай постоянно рядом со мной – я готов к случайностям, а случайности спешат ко мне – так мы дополняем друг друга. Один шанс из миллиона, что я разыщу вас в толпе, но мой счастливый случай... и...

– И вы еще раз выиграли машину по лотерее? – спросила она.

– Зачем вы злитесь, сударыня? В такой день людям надобно быть добрыми. Согласитесь, что не каждый может быть добрым, и не каждый знает, что такое доброта. Вы можете себе позволить быть доброй один раз в день?

– Могу, – отвечала она. – Я вообще чрезвычайно добрый человек, и это бросается в глаза, не так ли? Вы заметили это качество с первого взгляда и потянулись к чужой доброте. Что ж, я с вами согласна... то есть если у вас выучены все вопросы для шапочного знакомства, задавайте их побыстрее и оставьте меня в покое.

– Минуточку, гражданочка. Вы меня перебили, что невежливо, тем более что я еще способен сказать что-нибудь утонченное или интересное, чтобы порадовать ваш слух. Клянусь, я не так обыденно туп, как это вам показалось.

– Я вам не верю.

– Почему?

– Потому что совсем недавно я готова была стать вашей слушательницей, но вы умолкли и превратились в неотесанного зазывалу, потом предложили мне место стажера в вашей машине...

– Можете занять любое место в машине – даже водительское, если дослушаете меня до конца и согласитесь на мое предложение...

– О, сколько нового и необычного я слышу! – рассмеялась она. – Но не буду ждать до конца – я не хочу вашей смерти, – живите! – ведь вы сделали мне предложение. Скажите, вы и вправду хотите жениться на мне?

– Нет, но...

– Что же?

– Давайте будем проще...

– То есть? Проще чего? Я не люблю загадок – они отнимают слишком много времени.

– Хорошо, черт возьми! – вспыхнул он. – Слушайте. Прежде всего, вы мне отвечаете, следовательно, вы со мною разговариваете, поэтому можно считать, что знакомство наше состоялось. У вас ко мне возникло некое любопытство, равное интересу. О своем интересе я вам высказался довольно откровенно еще при первой встрече, теперь вы видите, что наши интересы обоюдны? Вот эту обоюдность интересов в наше время называют взаимностью. Рассмотрим вариант от противоположного: у вас нет ко мне ни малейшего интереса. Отвечаю: это невозмож-

но, такого не бывает по следующим причинам: первое, знакомые с собственной машиной встречаются не на каждом шагу, а машина – показатель ума и материального достатка, то есть показатель определенного уровня в социальной среде. Второе, если человек навязчив, то его навязчивость наполовину зависит от вас, – значит, вы для меня привлекательны, что не может оставить вас равнодушной к самой себе. Отсюда вывод: наше знакомство состоялось и, чтобы оно развивалось, вам надо быть более мягкой и благосклонной ко мне. Разрешите мне несколько изменить трактовку данной ситуации. Давайте посмотрим на эту пару – вас и меня – глазами стороннего наблюдателя, – мы видим, что мужчине и женщине в данное время просто нечего делать, поэтому она – курит, а он – влюбляется. Я предлагаю соединить наши занятия и отправиться на машине за город, чтобы посмотреть в глаза природы, наломать вербы или каких-нибудь других прутьев... Вы знаете, что скоро Вербное воскресенье?

– Что это такое?

– Некий языческий праздник, вошедший в нутро ортодоксального православия...

– Как вы красноречивы...

– Нисколько! Это вам кажется, что я красноречив. Видимо, ваши знакомые не умеют разговаривать.

– Пожалуй, да. Но мои знакомые не торгуют своим умением и не заигрывают со мною всеми колесами своего имущества. Ваше нахальство непривычно мне – с

непривычки я подумала, что вы рекламируете вышедшую из моды фигуру альфонса.

– Ай, как нехорошо! Зачем вы меня ругаете? Если вам не нравится моя откровенность, то могу переключиться на вариант светских разговоров о погоде или о литературе, а может быть, о сезонных выставках в Русском музее, но так или иначе, я должен буду пригласить вас в машину, где тепло и уютно, где невозможно думать ни о чем, кроме любви. Видите, я вас не обманываю и не увлекаю в западню. Я предлагаю, вам остается согласиться или отказаться от предложения.

– Если бы ваша пошлость была чем-нибудь прикрыта...

– Не продолжайте! Соглашайтесь. В конце концов, букет вербы ничуть не хуже ваших вызывающих фиалок, а мое приглашение ничуть не страшнее приглашения в кино или в кафе.

Мужчина, чье лицо она видела смутно – пятном в опушке волос, отвернулся, шагнул к машине и гостеприимно раскрыл дверцу. И она безмятежно села в красное кресло и закурила, предчувствуя скорость и забывая о притязаниях водителя.

Голос мотора походил на голос владельца – низкий и ровный, он звучал успокоительно и неожиданно слился с пейзажем (так совпадает звучание музыки с освещением в концертном зале), а пейзаж неожиданно оказался зимним: всюду были сугробы грязного снега, голые деревья, косматые мертвые гнезда в березах, пу-

стые скворечники, ледовые дорожки со следами красного песка у необитаемых дач и редкие жители – медленные и тепло одетые.

Роща, куда стремительно внеслась машина, росла на пригорке – снег тут стоял почти полностью, и только в ямах хоронились льдистые крошки, – у корней берез в косматых иссохших стеблях проклевывались свежие яркие травинки, на деревьях набухли почки, однако безлистые ветки не задерживали солнечного света, и поэтому полянка, на которой была совершена остановка, лежала на припеке в тепле и ласке весеннего дня. Водитель со вздохом вышел из машины и стал копаться в багажнике, а она, ужасаясь факту поездки в лес с чужим человеком – ужасаясь комически (боже мой, что же это будет?!), пыталась разглядеть попутчика в маленькое зеркальце на крыле машины. Водитель справился удивительно быстро – значит, заранее готовился – продумывал и упаковывал, – он принес пакетики закусок, кофейник, спиртовку, бутылку коньяка и два граненых стаканчика-недомерка, неловко свалил снесь на сиденье и твердо проговорил:

– Накрывайте на стол – это у вас лучше получится, чем у меня. Кроме того, занятие заполнит ваше молчание и скроет неловкость первых минут. Налейте мне, пожалуйста.

– Вы уверены, что я буду с вами пить? – спросила она.

– Не капризничайте, пожалуйста, мы не дети и не актеры – зачем устраивать спектакль?



– Упрекаете меня в переигрыше?.. Видимо, вы правы. О каких капризах может быть речь, если девица прибыла в лес добровольно и на этот подвиг не потребовалось недели уговоров?

– О, вы умеете понимать. Теперь это стало редким свойством людей. Многие даже не задумываются о таких мелочах, как понимание собеседника...

– Оставим человечество в покое. Вы хотели прямоты или цинизма? Я готова принять любые ваши условия, в конце концов я вас вижу в первый и последний раз, думаю, ничего дурного не будет, если я позволю себе говорить почти все в той форме, которую подсказывает мне вывезенная за город стыдливость. Повторяю, вы правы – церемониться нечего – сама села в машину, приехала, так пей! – другой бы и выпить не предложил, так ведь?

Она произнесла свою речь, все еще не глядя в лицо – кому? – этого она и сама не знала и не могла объяснить – знакомому ли? – попутчику ли? – приятелю? – подопытному кролику? – каждое понятие в какой-то мере было справедливо и правильно, – руки ее между тем разворачивали обертки и создавали бутерброды в три слоя (мясо, огурцы и зеленый лук или красная рыба, масло, яйцо), руки сотворили салат из ранних помидоров и поделили конфеты на равные доли; аппетит ее был далек от смысловых и нравственных положений – он существовал обособленно и настраивал органы чувств на немедленное потребление зримых лакомств.

Ей было забавно и досадно, что существо человеческое, изготовленное по образцу и подобию Божию, отличается от насекомых не помыслом, а промыслом.

– Что бы мы ни говорили, а скотское в человеке так обильно, что непонятно, за какие заслуги человеку присвоено звание царя природы, – продолжила она.

Напарник ее или приятель, возможно, что соблазнитель или пациент, над которым она решилась произвести некий эксперимент, ее слушатель, одобрительно покачал головой:

– Рад слышать мудрые слова, мадемуазель! Если вы откроете еще одну такую истину, я вас признаю за лучшего собеседника в этом сезоне.

– Я не подумала, что вы такой злой, – сказала она.

– Неправда, я – добрый, где вы ранее встречали большую доброту? Судите сами: я вас слушаю, я вас уговариваю, я вас угощаю и, наконец, я вас пытаюсь заинтересовать самим собой. Заметьте, не материальным превосходством, а своим обликом или, если хотите, характером. Признаться, кроме весеннего интереса, свойственного живым существам, меня заинтриговали ваши размышления и колкости, поэтому не требую от вас внимания к себе, – то есть не требую в данный момент. Понятно?

– До чего же мерзко вы уточняете.

– Просто не люблю пробелов и умолчаний, разумеется, когда об этом заранее обговорено. Так учит меня жизненный опыт. Теперь у меня к вам просьба: доро-

гая, давайте выпьем на брудершафт, как учили нас практичные европейцы, – выпьем для того, чтобы расстояние вежливости не мешало нашим теплым чувствам...

И тут она впервые прямо посмотрела ему в лицо, – она не испытала ни тревоги, ни трепета открытия, ни радости обаяния, ни отвращения – лицо было обыденным, без единой оригинальной черточки – лицо бородатое, с глазами прямого разреза, и глаза под стать бороде были неопределимого цвета – это лицо не имело никакого осмысленного выражения, только крутой лоб да впалые виски выдавали склонность к раздумьям. Она была разочарована, а он угадал это, и на мгновение горькая тень пробежала у глаз.

– Я не красавец?

– Вы следили за мной? – спросила она, чтобы избавиться от лжи, так как поняла его и не смела обидеть.

– Это я умею, – ответил он. – Лучше вам на меня не смотреть – до первой стопки. На Кавказе мне говорили, что коньяк улучшает партнеров, не так ли?

Он вынудил ее лгать – он возбудил жалость, родственную нежности, которую испытывают женщины к чужим и нескладным детям, – и она солгала:

– Я не об этом думала.

– Давайте выпьем, – вздохнул он, – а потом вы мне расскажете, о чем вы думали... или что вы думаете обо мне.

Она пила неспешно, хмелея от каждого глоточка, и неожиданно для него – и для самой себя! – протянула

ладонь к его затылку, приблизила с некоторым усилием его голову к своему лицу и поцеловала в губы. Поцелуй еще не пришел к завершению, когда она открыла глаза – увидела его брови, сдвинутые к переносью, загорелую кожу лба, зажмуренные глаза и кончик уха вдавали в зарослях волос – курчавых от бороды и прямых на темени и затылке, – затем поняла мучение его принужденной позы (он привстал с заднего сиденья, не выпуская из рук бутылки, стаканчика и бутерброда – привстал на полусогнутых ногах) – она отпустила его голову и захохотала. Кроме нелепости позы, ее смех был вызван испугом, переданным его губами – робкими, убегающими и закрытыми – так терпят поцелуй юноши, у которых молодая страсть борется со страхом прикосновения к непонятному миру женщины. Очевидно, поцелуй произвел слишком сильное впечатление на ее компаньона, так как он без задержки наполнил свою посудинку до краев и залпом выпил, и снова налил полную стопку – коньяк пролился через край на пальцы и капал вниз янтарными слезами – он снова выпил, и только после этого поднял на нее глаза. В его взгляде был наивный и удивленный вопрос. Теперь она чувствовала себя хозяйкой положения: она знала, что ее решительность более его силы, что ее бескорыстие (или романтичность) сильнее его представления о стяжательстве: ее поступки искренни, – а этого он никак не мог ожидать. И она решила вести игру их встречи по-своему – решила успокоить его испуг, решила вы-

дать себя, то есть выявить себя так, как было сокровенно в ней от природы, потому что его страхи и его наивность казались ей не столько слабостью характера, сколько душевной чистотой, которая маскируется ветошью потасканного цинизма.

– Хорошо, – сказала она, перестав смеяться. – Я отвечу на оба ваших вопроса: на вопрос, который вы мне сказали: «Что вы думаете обо мне?» И на вопрос ваших глаз, который звучит приблизительно так: «Что нужно думать об этой?» Я бываю не менее искренна, чем вы, и не страдаю отсутствием слов...

– Пойдите, пойдите! Разве мы не пили на «ты»? Так не честно...

Он протестовал формально, а поэтому – напрасно. Она улыбнулась мягко и понимающе. У него тут же пропала охота говорить.

– Вот видите, – возразила она, – вы меня не можете называть на «ты», значит, этого и не нужно, мы можем быть друзьями при общей мере вежливости, да? Друзьями! – согласны? И не больше. Я сначала хотела сказать вам обличительную речь – речь о вас, ибо очень трудно не воспользоваться любым оружием перед лицом врага. Ведь до поцелуя мы были врагами – противниками, не так ли? Я смогла бы сказать много колкостей, много откровенных гадостей, но сейчас мы – друзья, и не будем напрасно поднимать пыль, перетряхивая обиды. Вы – мужчина, возраст усредненный, то есть от тридцати до шестидесяти, но ближе к последней цифре,

так как у нас в городе к тридцати годам очень малый процент альфонсов имеет личные машины. Не смущайтесь, впрочем, смущайтесь – это лишнее доказательство моей правоты. (У него брови изогнулись вопросительно, – она подумала, что неверно оценила его внешность, что он очень четко меняет выражение лица и артистически владеет мимикой.) Сейчас поясню. Знакомясь со мною, вы выбрали маску пошляка и гуляки при деньгах, наделенного ловким умом и способностью увлечь любую Кармен с любой табачной фабрики. Вкус данного альфонса склонялся к романтическому путешествию в дебри чувств, – над вашей машиной как бы рдели алые паруса, собирая влюбленные взгляды. А вы тем временем выбирали. И вот выбор сделан – вы увидели «девушку с фиалками» и бросились в атаку. О рыцарь мой, вы выбрали крепкий доспех – маска не качалась и не отмыкала от личности, – и я приняла эту маску за ваше истинное лицо. Я надумала экспериментировать над вами, над вашими нервами, над вашим себялюбием, над вашими деньгами и над вашей зрелостью. Я хотела побаловаться так, как позволяли себе куртизанки классической литературы. Вдруг этот поцелуй... Боже мой! Он предал вас – он раскрыл вас, как солнце раскрывает створки ракушек на песке. Поцелуй вас изобличил, и мне это принесло радость, да – радость открытия: вы оказались Дон-Жуаном, который боится женщин, а мужчина, который боится женщин и посягает на ветреные знакомства, – мужчина еще не испорченный, еще

не грязный, еще не мерзавец. Спасибо вам за то, что вы таким сохранились и таким встретились мне.

Пока она выговаривалась, он сидел в углу – втиснулся в угол – и глядел на ее вдруг строгое и прекрасное лицо, любил это лицо и знал каждую его тревогу и радость и, одновременно, раздражался правдой слов и ложью ситуации, при которой звучат слова. Он хотел какой-то перемены, какого-то доброго исхода, а не перебранки.

– Вы меня оглушили... Вы меня свергли... именно, свергли – не уничтожайте... Это противоестественно и непонятно, – бормотал он. – Вы меня рассказали мне, но это получился не я... Так говорят о покойниках. Я хотел бы стать таким при жизни... Я даже имени вашего не знаю!

– Что толку в имени моем, да и я не знаю вашего имени?! – отвечала она.

– Да я не об этом! Все это смешение глупости и случая, прихоти и страха, благодати дня и легкости весны...

Она веселилась – принятые ею контрмеры оказались такой силы, что противник готов проклясть самого себя, забыть прошлое и взяться за создание новой жизни, то есть взяться за создание совместной жизни, если она ему в этом поможет. Она видела, что он как бы помолодел, словно неведомый бог одарил его новой силой, – что он готов к подвигу любви ради самой любви. Она победила, но победа не дала ей милосердия. Она позволила себе пышную позу триумфатора и величаво протянула ему руку, протянула как бы случайно, потягиваясь – с уверенностью, что побежден-

ный склониться перед этой рукой власти. И как только он качнулся к ее руке, она прервала его порыв.

– Как легко мужчины становятся поэтами! К сожалению, плохими поэтами с трафаретным покаянием и общедоступной клятвопреступностью. Вы сами заметили, как изменился ваш язык. Даже потрепанная нравственность (что-то должно служить ей заменой?) ищет в памяти предметы стыда и хоругви святости. Но вы же – мужчина, а поэтому не успеет завянуть на челе лавровый венец страдальца, как вы забудете поэзию любви и закутаетесь в тогу седой скуки. И все возвращается на круги своя, и снова вы станете готовиться к параду обольщения...

Слова не успели остановить его – он поцеловал ее руку – он склонился, целуя нежную свежесть ее руки, он чувствовал, как острые коготки слов впились в память и ранили напыщенным презрением его гордость. Он понимал, что она вероломна и мстительна – и оскорбился за нее, так как приписывал победителям традиционно-книжные качества великодушия. От оскорбленности он почувствовал себя как бы посторонним, как бы третьим лицом в споре, и это вернуло ему холодность и независимость, а раздражение, следы которого еще стесняли его, превратилось в некую форму гнева – не слепого, не жгучего, а медленного, как глумление.

– Так, так, – проговорил он. – Волей-неволей мы сбились на Новый завет, ибо заповеди Моисея не предполагают предательского поцелуя. Великолепно! Вот



бы не подумал, что вы способны на изощренное предательство. Что ж, вы – женщина и умеете мстить. А вы знаете, что такое месть? О, месть и женщина чем-то схожи!.. Месть всегда порождает насилие, месть плодила войны и заговоры, месть была грабежом и отвагой, а выродилась в низость. Месть – это средство – противоядие, так сказать, противоядье чувств. Вы отравили меня своим поцелуем, – теперь я вам отомщу. (Она слабо вздрогнула и попыталась скрыть эту дрожь, смахнув ладонью волосы со лба, но он заметил.) Минуту назад я был сломлен, был бит, был пленен – я был рад быть плененным и шел на милость победителя, а наткнулся на жестокость, поэтому мщу без сожаления, ибо это не ухудшит моего портрета, который вы рисовали с такой легкостью и ловкостью, что я почти поверил вашей искренности. Месть моя проста. Собственно, это даже не месть, а тень ее или отзвук, вернее, это соприкосновение моего недавнего сна с явью вашей руки – это ассоциация, то есть качественное сравнение, от которого я не в силах удержаться.

Теперь она глядела на него с тревогой и любопытством, и не пыталась маскировать этого.

– Я вам снова интересен? Вы удивлены вступлением? Напрасно! Клянусь, напрасно! Я расскажу вам про сравнение, то есть про сон, это настоящий кошмар, возникший без причины, стало быть, без смысла, – возникший, может быть, от усталости. Вечер перед ночью, когда явился этот сон, был морозным и вьюжным

– мне пришлось почти до полночи быть на улице, быть в напряженном ожидании, быть сосредоточенным и безошибочным, – и все впустую! Понимаете ли, зря потраченные духовные и физические силы, невозможность скорого отдыха, необходимость повторять подобное бдение – снова мерзнуть, глядеть и ждать, – нагрузка пренеприятная и раздражающая... Словом, мне не повезло по службе, и думалось, что доберусь до постели, упаду на одеяло, выпью водки и тотчас усну, а вышло все шиворот-навыворот. Я выпил не водки, а рому с чаем и лежал, согреваясь, а согреться не мог. И вдруг вспыхнул жар – меня словно раскалили, – я ворочался и никак не мог пристроиться на подушке, и собственные ноги были тяжелыми и неудобными. Я лег на спину, вытянулся в полный рост – не помогло. Затем перевернул подушку и на прохладной наволочке блаженствовал несколько секунд. Было темно, очень темно, глаза не привыкали к темноте, а когда подумал, что глаза не привыкали к этой темноте, заметил в пространстве комнаты ребра и грани предметов, между которых плавно юлила маленькая желтая точка. Я невольно стал следить за ней, – искорка уловила мой взгляд, и с этого момента точка начала приближаться ко мне плавными скачками. Эта точка, эта искра, словно бы гарцевала на спине невидимого существа – так качается и летит яркая куртка жокея, поэтому я старался разглядеть черноту под этой точкой. Болтанка и качание искры смутили меня: я хотел было укрыться одеялом, а точка вдруг

выросла во что-то объемное и овальное – во что-то желтоватое, как яблоко, но не яблоко. Я приподнялся на локтях, вглядываясь, а это нечто снова увеличилось – увеличилось до размеров тыквы, стало чуть ли не метр в поперечнике, а потом мягкость и нечеткость очертаний стали формироваться, как бы крепнуть, быстро колеблясь, и превратились в золотистую упругую задницу на бурых паучьих лапах. Видимо, движение паучьих лап давало этому предмету скачкообразное качание. Еще мне запомнилась необычайная телесность этой задницы – она дышала здоровьем и силой, она знала себе цену и, пококлетничав, удалилась куда-то во тьму. Уже в момент убегания предмета, я понял, что вижу сон – странный сон, – до сих пор не могу понять, отчего возникают подобные сны. Прошло время, и пришло озарение: я поцеловал вашу руку и увидел, что кожа вашей руки такая же телесная и желтоватая, живая, нужная и свежая, как та задница на паучьих лапах... Черт те что! Я мстил вам, а наказал сам себя – напомнил самому себе!.. Простите меня, но это неотвязно... Какое-то липкое видение...

Она почувствовала странное смятение своего компаньона и на долю секунды вообразила себя формой его тела в той немой темноте, где он наткнулся на патологическое видение, – она передернулась от отвращения и ужаса, она открыла дверцу машины и вышла, словно нырнула в весенний воздух.

– Вы меня не ругаете? – услышала она глухой голос из машины.

– Что вы?! Мы так мало знаем друг друга, время ругани еще не пришло, – ответила она.

– Тогда включите музыку, и давайте еще выпьем.

– Включайте сами, – резко сказала она, – а я прогуляюсь за вербой. Вы не против? Ах, против... Ничего, подождете. Бывает, знаете ли, необходимость даже в лесу побыть в одиночестве.

В ответ из машины раздалась музыка с треском радиопомех – музыка провожала ее – она шла в рощу, сопровождаемая звуками ударника, вскриками неведомого певца и шорохом стальных щеточек – она шла, потрясенная елейной грубостью, не в силах избавиться от гадкого образа чужого сна, одновременно ей было радостно от теплого дня и от случайной тропинки, от нежного воздуха и от ощущения ложной свободы, неизменно появляющегося у нее на беспрепятственном пути. Потом она услышала крики и гудки, но ответить не захотела, она побрела бесцельно и медленно по тропинке, петляя между ям и кочек, между патлами бывшей травы и ледяными грязными полушариями, словно бы зарытыми в землю. Солнце тем временем опустилось за деревья, сразу повеяло пронизывающим холодом, он полз с земли, где уже была вечерняя тень, пугал лесными страхами, отчего ее рассеянность пропала вместе с недавним потрясением. Она чувствовала рощу, расстояние до города, которое пешком не пройти, знала, что есть обожатель с теплым домом на колесах. Она вновь ощутила голод и вспомнила заманчивые закуски, коньячный аромат в машине и – за-

торопилась. Как ни быстро она шла, еще быстрее в ее воображении возникали предполагаемые ситуации дальнейшего знакомства. Она видела его обаятельным и обожленным и придумывала кровавые сцены насилия и преклонения, – пугалась того, что придумывала, и придумывала сызнова – в более спокойных ситуациях. Потом с вершин деревьев на тропинку слетел порыв лютого ветра – реальный озноб посеял в ее уме ветреную, но справедливую мысль, которую она проговорила шепотом:

– Господи, что я придумываю? Чего мне страшно-то? Ведь ничего нового не будет, только бы не уехал... О-о!

Она торопилась. Она поняла, что сдалась, и торжествовала только оттого, что поражение скрыто бывшей победой поцелуя да этими березами и соснами, – он еще не знает о ее поражении.

Машина стояла на прежнем месте, и волны тихой музыки кружились в начинающихся сумерках. Обольститель, имени которого она по-прежнему не знала, сидел на месте водителя и читал, положив книгу на баранку руля. Весь арсенал закусок и напитки были убраны, что раздосадовало ее, так как она подумала, что это знак прекращения посягательств – знак обиды на ее коварство, а в ее планы входило перемирие. Она было собралась упрекнуть его в жадности. И не успела.

– Вы замерзли? – спросил он, а когда она кивнула в ответ, добавил: – Там, на сиденье, плед.

– Вы так любезны, – проговорила она.

– Не пытайтесь язвить. Было бы правильным оставить вас здесь на съедение волкам, но боюсь, что вы и тогда ничего не поняли бы. У вас в сознании есть область ложных представлений, которые, как ни пере-мешивай, как ни украшай, все равно останутся ложными. Впрочем, тут мало вашей вины, вам с детства внушили, что все мужики одинаковы – все подлецы. Это не так... в моем случае, по крайней мере.

– Хотите объясниться в любви самому себе? А я? Я для вас уже не существую? Вы непостоянны, как настоящий мужчина.

– Простите, в чем?

– В том, что не умеете слушать.

Она успела согреться и потянулась за сигаретой, а он молча щелкнул зажигалкой и подставил к сигарете голубой огонек. Она затягивалась глубоко и часто, выпуская клубы дыма, окутываясь этим дымом, чтобы за дымовой завесой на что-нибудь решиться и что-нибудь сказать. Чувство неловкости угнетало ее.

– Видимо, мы оба любим самих себя, – оказала она.

– Естественно, – ответил он.

Он включил зажигание, мотор затарахтел, и этот шум был продолжением его ответа, что ее возмутило вполне искренно, ибо она совсем не желала прекращать дипломатические переговоры. Однако он, судя по замкнутости рта, исключил ее мнение и желание.

– Куда вы теперь меня повезете? – спросила она.

– Пока – до шоссе, а потом – куда прикажете.

– Мне можно быть нескромной?

– Ради бога!

– Вы сегодня заняты?

– В каком смысле? – удивился он.

– В естественном, – глубоко вздохнула она, – в том самом, в котором началось наше знакомство.

– В этом смысле я постоянно свободен, хотя это не утешительно.

– Утешьтесь, я приглашаю вас на ужин. Я хочу ужинать с вами, я хочу быть с вами весь вечер.

– Где? В кафе? В сквере?

– Не пытайтесь меня оскорбить, на сегодня вполне достаточно вашего мерзкого сна. До сих пор не могу сбросить чары, может быть, поэтому я на вас не сердита.

– Вы что-то задумали, иначе я не могу оценить вашей гостеприимности и мягкости.

– Что вы себе позволяете?! – возмутилась она. – Да если у меня есть тайные намерения, то они не настолько радикальны, чтобы повлиять на вашу судьбу. И вообще, давайте молчать. Кажется, мы молча лучше понимаем друг друга.

Он согласно кивнул.

Молча они въехали в город. Она указывала дорогу взмахами руки, а ее компаньон улыбался, глядя в лобовое стекло так внимательно, словно видел там коллизии загадочной жизни, скрытой в других мирах.

Потом был краткий и приятный ужин, который прошел молча, даже допитый коньяк не породил желанья разговора, вероятно, оба они решили наказать друг друга игрой в молчанку. Да и говорить не хотелось – вполне хватало зрительных впечатлений. Испытывая постоянную и чрезмерную любовь к своему телу, она раздевалась медленно, свободно и невозмутимо, а потом также медленно и уверенно раздела его – уже блаженствующего и трогательно стеснительного.

Утром она проснулась до будильника и тут же у постели на маленькой электроплитке приготовила омлет и кофе. Ее радовала алчность его аппетита и его ровный взор, в котором не было убегания и неприязни. Ее радовал аромат плоти, едва уловимый в воздухе, и солнечный луч, прорвавшийся в щель портьеры. Оба продолжали молчать, и это молчание настораживало обоих. Наконец, когда он был одет и готов уйти, она не выдержала и проговорила:

– Вечером, если захочешь встретиться... Я часто бываю дома...

Она осеклась, слыша ложь своих слов и не замечая чистоты молящей интонации, более правдивой и глубокой, чем слова.

– Не знаю, – отвечал он. – Я запомнил твой адрес.

– А я запомнила номер твоей машины, – сказала она.

Оба улыбнулись. И расстались...





## Теснота пустоты

**Ч**то-то переполняет меня, чему нет названия, — что-то трогательное и суровое, но что? — грусть ли это? — тоска ли? — или сама владычица-скорбь разрастается во всю ширь души? Нет, нет, нет. Это совсем другое... Это безмянное мое, как бы сферическое, — оно рефлексировать грусть, тоску и скорбь, словно искры чужого света мечутся в полноте моей, в тесноте непонятного и неодолимого... Может быть, это смерть моя так вселяется в тело, что начинаешь чувствовать какое-то излишество — ненужность, даже порочность в каждом дне жизни. Смерть порочна — смерти не должно быть,

ибо она прекращает слова и разделяет целостный поток времени – так я уверен. Людям народа моего свойственна полнейшая уверенность. Некогда мы стали единым народом от такой уверенности, заставив души свои верить в значительность слов о Боге. Ныне от былой веры остались только слова и ненасытное желание некоей душевной выси. О выси мои! Выси ли? Чем живу теперь? Зачем живу теперь? Но знаю я, что внутренние вопросы безответны, они являются, чтобы потревожить непонятную наполненность души, разогнать тесноту ощущения, ибо не смерть во мне, а что-то вязкое и материальное. Десять лет назад я почувствовал смерть свою – я носил ее на себе, как рубашку, задышался в толпе людей от невыносимой обреченности, но не мог умереть – не имел на это морального права. И живая душа – поняла – заставила мое тело сопротивляться смерти. Не цепляться за лучики жизни, а сопротивляться наплыву смерти. И смерть моя отвалилась – освободила тело для труда – и как было умереть, если только-только родился сын мой? Если жене одной не поднять сына до зрелости?.. От одной мысли, что сын может помереть от нужды прежде своей матери (о себе я думал уже в прошедшем времени), во мне закипала ярость. Подумать только – только подумать, что это за жизнь! – только труд, труд – и все, и ничего более, даже сытости нет. Нищета меня раздражала. И тщета. И одновременно друзья стали раздражать: для одних жизнь шла в нормальном порядке – в привычке; другие – иронизировали над собою, но уместна ли ирония, когда на

душе кровавые мозоли? А иные приспособлялись – отыскивали колею, которой можно подкатиться под навес, где располагаются земные блага. Мерзко было на них смотреть, – словно навозные мухи влезли лапками в лужу меда и жрут, пока не подохнут, ибо не вырваться им на свободу. Как пузыри в кипящей воде, клокотала ярость моя. Даже во сне я чувствовал раздражение и ярость. И во сне стали навещать меня видения. Именно видения, а не сны. Сон – что? – сон подобен кинофильму, смонтированному пьяным оператором из лент разрозненных сюжетов. А видение жестко, возможно – жестоко. Видение не имеет сюжета – длится, длится, длится, пока не проснешься. Проснешься и поймешь, что это видение...

Помню, явились во сне грибы – толпы грибов – бледных поганок, синюшных слизняков, похожих на детородные органы. Земля под грибами передвигалась – мшаник уступал место траве, в рядах поганок проросли солонухи – волнушки, подореховики, лисички – старые и рыхлые. Мои глаза рыскали то тут, то там и ничего не находили. И вот рядом с вереницей груздей, у помятых папоротников встали, прижавшись друг к другу, белые грибы. Я видел. И не ходил. Одни глаза мои жили над полем грибов. И явился нож – лезвие, как язык из нержавеющей стали, – полоснул над землей, свалил белые грибы, а на срезе ножек – звездочки червоточин. Червоточины приблизились к глазам моим, словно крупным планом заснятые, и глаза стали слезиться. Я проснулся в слезах. Вижу – ночник горит, мебель в комнате как бы сквозь вуаль видна, – мы дер-

жали ночничок на случай ночной тревоги: у сына что-то с кишечником было неладное, испражнялся зеленой слизью, криком кричал, может, от боли. Он заорет, бывало, я вскочу, возьму его столбиком, прижму к брюху своему – притисну, и замолкает... Даже улыбался, не раскрывая глаз. Кроха! Кроха моя...

Так вот, проснулся я, вытер ладонью глаза, комнату осмотрел: сын спал на боку, рот открыт треугольником, как у котенка, и слюнка на подушку тянется. Жена спала комком, вздрагивала, но не просыпалась. У соседей – тихо. И во дворе было тихо. А у меня перед глазами витали грибы. Грибы – это гробы, это точно. Гробы со смертью неразлучны. Я тогда чувствовал смерть свою, как рубашку. Грибы – поганые, значит, смерти чужие – удаленные. А белые, что стояли так семейно – большой, поменьше и совсем маленький? Так это и есть моя семья – я тогда почувствовал это каждым волосом головы своей. Говорят, волосы бесчувственны – ложь! – у меня волосы дыбом встали от видения грибов, от червоточин, которые увеличивались в провалы гнилых дыр, приближаясь к глазам. Я лежал и думал, с чего это привиделись грибы? На дворе была ранняя весна – не время для грибов, и разговора о грибах на ночь не было... И тогда я вспомнил, что мать-покойница говорила о деде моем, будто бы он умел сны разгадывать, ему даже подарки делали за разгадку, особенно, когда сон в руку, то есть сбывался по слову деда моего. Может, у меня наследственность от деда – поэтому вижу видения, должна же наследственность чем-то

выражаться? Я вспомнил его фотографию – внешне мы не похожи: он – явный семит, а меня все татаринომ считают, да еще фамилия странная – Акчанский... В армии, когда на сборах был, я концом в бане тряс – доказывал, что еврей.

– Это тебе хочется евреем быть, чтобы в комиссиях заграничные тряпки с черного хода доставать, а так – татарин, и конец твой обрезан, как у татар, – сказали мне образованные солдаты.

Татарин и татарин, какая разница? Но это в 59-м на сборах разницы не было, а в следующем году повеяло – запахло еврейской виновностью, хотя в крови своей я никаких тревожных сигналов не уловил. Только в 67-м кое-что прозвучало – вскользь – быстрым касанием – с искрами юмора, что ли. Парторг был у нас в отделе – забавный, – отставник, родом из крымских татар. Мы с ним, как заговорщики, улыбались, когда руки мыли после гальюна. Никогда он и намека не делал, что интересуется моею национальностью. И вдруг спрашивает – утром! – еще мы за столы не разбрелись – покуривали у двери отдела.

– Что это там твои делают? – спросил Рякимов. Я оглянулся, двое из группы моей курят – больше ничего не делают.

– Ты о чем? – удивился я.

– А прочти, познакомься о чем, – сказал он и на глазах всей нашей итеэрни развернул свежую газету «Известия», как сейчас помню. А текст забыл, то есть

помню ощущение от текста, а не слова, – что-то там было о вероломном нападении Израиля на Египет.

– Что скажешь?

Я ответил, не думая, как по наитию:

– А, это? Это мои твоих бьют.

Итеэдня наша закатилась радостным смехом – татарина не любили... Я в тот день, естественно, не мог догадаться, что Рякимов на закрытом партсобрании поставит вопрос о моей аморальности, которая чем-то порочила здоровье коллектива. Какое его собачье дело было до того, с кем я сплю в своей кровати? Оказывается, был сигнал – анонимный. Другой сигнал подал сам Рякимов – о сионизме. Мне об этом приятель, Борька Некрасов, сообщил, он присутствовал на закрытом партийном... даже признался, что голосовал за принятие мер, ибо на срочной службе на флоте он стал членом... Хотелось мне Рякимову зубы начистить – при свидетелях, чтоб еще посигналили, но Борька, приятель мой из группы навигационных приборов, который партийную тайну мне выдал, предупредил:

– Смотри, не пыли. Татарин на твою вспыльчивость рассчитывает.

Я не стал пылить, а уволился по собственному желанию. Никто меня не удерживал. Задним числом я подумал: уж не рассчитывал ли Рякимов на то, что Борька мне расколется, а я – взвьюсь и сам уйду? – плевать я хотел на его расчеты. Однако с увольнения начался мой крах, нет, не крах, а восстановление наци-

ональной принадлежности. Самая пошлая глупость, которую я уже не мог не совершить. Меня словно бы вознесли на снежный холм, обваляли снегом, как шар, и пустили вниз. И покатился я, наворачивая на себя холодные пласты чепухи. Сообразил я это поздно – уже не остановиться. Правда, сперва возможности не было заметить, что покатило... Я был просто-таки обижен, я думал, что среди рабочих такого Рякимова не встретишь, – я решил больше не инженерить. Я поступил – уму непостижимо! – в мастерскую по ремонту бытовых электроприборов. Заведующий мастерской об образовании не спросил, а сам я не сказал. Начальник – старичок почти, Иван Ефимович Царев – по паспорту, а по рождению Исаак Ефимович Сорец, – он мне группе электронагревательных приборов поручил – плитки да чайники, оплата почасовая. Иначе заработка не было бы. Две плитки в неделю ремонтировал, чайник в месяц. Вот и затосковал. Стал заходить к начальнику в каморку. Зайду, скажу, что работы нет, а он мне стул предложит и пальцем прикажет – садись. И говорит, говорит, говорит, не глядя в глаза, – в бумаги под носом бубнит: о том, что некоторые уже уехали, трудно было, но добились... тьму денег выбросили, чтоб откупиться за образование, за ученые степени. У меня от названных цифр даже голова кружилась – где ж взять гору деньжищ, двадцать тысяч, если в месяц зарабатываешь сотню? А ехать куда? Тех, кто выбыл, родственники ждут, может, богатенькие. А я – сирота.

Откровенность, знаете ли, сродни вспыльчивости – она у меня вспыхивает, когда в душе короткое замыкание... Наговорил я гадостей Ивану Ефимовичу, сказал, что на выставке собак по национальным признакам призы присуждают. А он согласно головой кивнул.

– Ты, – сказал в бумагу, – ушел из проектного института по национальным признакам. Я звонил туда, интересовался. Со мной некто Рякимов разговаривал, парторг. Сказал, что у тебя были заметны сионистские замашки, и он сомневается, что тебе можно поручить государственную работу.

– Это электроплитку-то?

– Ну что ты, чудак какой, я назвался секретарем парторганизации почтовый ящик двести пятьдесят шесть «а» Полетаевым, телефон дал для проверки. Мы с Полетаевым вместе войну прошли, не выдаст.

– И выдавать нечего, что я – враг, что ли?

– Кому как. Рякимову – враг, а Рякимовых теперь на каждом шагу... Учти, если помощь нужна, можешь на меня рассчитывать.

– Какая помощь? Какая помощь? Я здоров, могу грузчиком работать, если отсюда уволят...

– Это дело твое, – сказал Царев и больше рта не раскрывал, даже для «здрасте».

А в сентябре – через полгода! – подошел со спины, когда я спираль менял, сказал в мой затылок:

– Знаешь, где синагога? Приходи к восьми вечера. Праздник у нас. Я тебя кое с кем познакомлю. Поговорим...



Побывал я у синагоги, посмотрел издали на толпу евреев, а не подошел. И Царева не видел. Дошел до улицы Маклина – по пути к дому, гастроном там на углу... Первый раз в жизни меня потянуло надраться – такая жажда накатила, что челюсть онемела. А спиртное уже не продают. Стою у закрытого прилавка и ненавижу общественную торговлю – всех ненавижу, все ненавижу, дай топор – таких бы дров нарубил!.. И тут голос пришел со стороны:

– Тоскуешь?

Я молчу.

– Чернила – трояк, москвичка – шестерик, – провещал голос.

Понять, о чем речь, было нетрудно, хотя жаргон я не люблю. Отстегнул ему шестерик за бутылку московской водки и пошел к Юсуповскому дворцу – там клены, скамейки даже есть, а население бывает редко. Выпил из горла полбутылки – тошнотно, слюна во рту с желчью. Вероятно, крепко захмелел – ополовиненную бутылку под скамейку поставил и вышел из сада к Фонтанке. Как меня вынесло на Исаакиевскую площадь, убей Бог, не помню, словно ветер с Прибалтики откатил меня от дома. Ленинградцы знают, как неуютно чувствуешь себя у подошвы Исаакия – долго не задержишься... а куда идти? К Неве? В «Асторию»? Может, в горисполком? Мне было так муторно, что сам бы в выпрезвитель побежал, да адреса не знал, а спросить стеснялся. А Исаакий – громада – давит душу, хотелось распластаться по асфальту. И тут ветер погнал меня

вокруг собора. Несло меня ветром, и вижу: наносит на изящную спину – стоит создательница, хрупкость сама, надломленность, казалось, что серый пыльник удерживает хрупкость ее, чтобы не распалась, и такая обреченность читалась в спине этой и в кудряшках каштановых волос, что мне захотелось плакать. Ветер меня прямо на хрупкость гнал, я уперся – сманеврировал, не упал и оказался с правого боку от нее. Девчоночка стояла рядом с решеткой ограждения, личико бледно-зеленое, юное и несчастное, – стояла и сердито мяла цветы – три надменные рожи георгинов, пунцово-красные, растопыренные, как хулиганы. Как я рухнул на колени! Ох, как я рухнул на колени перед нею!

– Выбрось этих мерзавцев! – выкрикнул я. – Это зло в руках твоих, яд это. Взгляни лучше на меня, вот я! Я люблю тебя, как душу свою, как святая святых! Взгляни: я – судьба твоя!

– Порченная у меня судьба, – сказала она. Она правильно сказала, но я понял превратно – стоя на коленях с горькой слюной в пасти, правильно не поймешь.

– Золотко мое, взгляни в глаза мне, разве не душа моя трепещет там, разве не цветы грез населяют меня? Ты – греза моя, угроза моя, жена моя, тоска моя, горечь моя нестерпимая... Протяни мне хоть палец свой, хоть бы соломинку от букета твоего, чтоб спастись...

– Как смешно ты говоришь, – удивилась она.

– Я правду говорю, ты пойми это. Я – судьба тебе, я – и никто другой. Видишь, никто другой

сюда не пришел, а ты – ждала, ибо ты ждала меня. Пути судьбы невидимы, но нерасторжимы.

– Не молодой уже, – сказала она, – а глупый. Сегодня ты меня уговоришь, а завтра назначишь свидание и не придешь. Я вас, мужиков, насквозь вижу.

– Молчи!– заорал я. – Это не твои слова, это ты у старух наслушалась!

– А ты почему знаешь?

– Знаю, я – колдун.

Как я сказал про колдуна, зеленоватость ее сползла со щек, а глаза ожили.

– Ты правда – колдун или так клеишь меня?

– И это не твои слова, ты их на улице подобрала. Забудь их. Забудь все, что знала с чужих слов. Говори только то, что чувствуешь. Ты прекрасна, возлюбленная моя! О, как сияют глаза твои в этой осени! Как струятся твои волосы!..

– Я чувствую, что твоим коленям больно, – вдруг сказала она, и это было правдой. – Встань, пожалуйста, не смейши прохожих. Я же не принцесса. Я девка, дура круглая.

– Это горечь твоя ругается, – возразил я. – Забудь горечь свою. Давай жить так, словно у нас мед на губах и в глазах... Ты знаешь, что в твоих глазах живут огоньки? Да, да!словно кто-то соединяет проводки внутри глаз твоих – и вспыхивают искорки...

Она подняла меня с колен, мы встали глаза в глаза – рост у нас был одинаковый. Не знаю, что она различила в моих глазах, но в глубине ее глаз сиял огонь – не

искорки случая, а как бы пламень уверенности... и хрупкость ее улетучивалась – она уподобилась глыбе – не большой, но плотной, тяжелой и... теплой.

– Куда поведет меня судьба? – произнесла она. – Не к мосту ли, чтоб в воду?..

Я даже испугался – в воду ей нельзя ни за что – утонет, как камень, я это знал шкурой своей.

– Не говори так, душа моя. Зачем в воду? Мы и так окружены водой, каждый камень города нашего лежит в воде...

– Это не мой город, – тихо сказала она. – Ты про меня ничего не знаешь.

– Расскажи, буду знать. Но лучше не говори ничего, лучше забудь о себе. Давай начнем все сначала. Давай начнем новую жизнь...

– Что это будет за жизнь... – неопределенно и мрачно сказала она, но сопротивления в ее голосе не было.

Согласие ее успокоило душу мою. Мы пришли ко мне на Пряжку и спрятались в комнате. Мы укрылись одеялом с головою, и в темноте я ей рассказывал, где расположено наше гнездо. Как только я произнес, что напротив – дом для дуриков, – в темноте вспыхнули ее глаза, как кошачьи.

– Мама мне всегда говорила, что я – сумасшедшая. Нормальная девка разве пошла бы с мужиком, которого в первый раз увидела? А ты не женат? – вдруг спросила она.

– Женат? Да что ты? Кому я нужен? Со мной женщины больше месяца не выдерживают, а за месяц разве успеешь жениться?

– Значит, ты – бабник?

– А кто не бабник? – обиделся я. – Может, только голубые.

– Фу, мерзость, – сказала она.

Слово это решило наши судьбы, то есть объединило нас, ибо мы оба одинаково чувствовали одиночество и бедность вокруг нас.

...Жена моя оказалась беременной. Она хотела оставить ребенка – назло тому, кто должен был быть отцом, но выкинула на пятом месяце. А потом спуталась с моим приятелем, так что я даже похоронил ее в сердце своем. Однако она продолжала жить со мною – стирала и готовила, как нанятая.

Мы с ней два года не разговаривали – просто жили вместе под одним одеялом. И мне это не казалось мерзостью. Потом она забеременела от меня – я сразу догадался, что от меня: она плакала, молча, утрами, когда я должен был крепко спать. А мне не спалось. И не говорилось. Притворялся спящим, даже всхрапывал. Мне думалось, что глупость ошибок должна выйти из организма, как выходят шлаки. Некоторые позывы тела своего мы понимаем... А позывы жизни? Кто нам поможет уйти от прошлых ошибок? Она – мне, я – ей. И тогда я заговорил:

– Пойди в женскую консультацию. Запишись на сохранение.

– А ты откуда знаешь? – вспыхнула жена.

– По-моему, я тебе в первый день сказал, что я – колдун.

– Зачем же в консультацию? Заколдуй меня...

– Ты не плачь, – сказал я. – Нужно ребенка сохранить. От живых людей должен живой человек остаться. Он будет колдуном, как отец, и теплым, как мать.

Из мастерской по ремонту бытовых электроприборов я уволился – разве для ребенка моей зарплаты достаточно? Хотел снова итеэром стать, сунулся в пятое отделение Института имени Крылова, ибо помнил там кое-кого по прежним делам. Кадровик меня огорошил:

– Откровенно, Акчанский, без дураков, ясно? Тебя рекомендовали, но... ты в Израиль не собираешься? Я возьму тебя, а ты – подашь документы. Тогда мне самому на Сахалин бежать придется. Не хочу рисковать, понимаешь?

Я заметался. Поработал грузчиком на товарной станции – надорвался. Хотел на лифты электромехаником – не взяли, сказали, что трое евреев уже сбежали за кордон. Нашел работу в пригороде – электронные обогреватели на курятнике ставил... Пока ставил – простудился, стали почки болеть. Положили меня в больницу. В больнице воспалилась поджелудочная железа. Потом сердце стало барахлить – от боли, наверное. Пока я в больнице недомогал, жена отправилась рожать. Мы вышли к жизни почти в один день. Первое время сирена «скорой помощи» на меня ужас насылала, думалось, что опять ко мне спешит... думалось, что спешит смерть: мочился с кровью, голова болела постоянно, а в руках не было сил жизни. Жена только месяц после родов подекретила – больше не могла, вышла на работу, а то хоть с голоду подыхай... Вот и

привиделись тогда мне грибы – все поганые, а одна семья – белые, но с червоточинами. Естественно, жене рассказал, что означает видение – тоже не скрыл, а потом, автоматически, стал рассказывать о предках своих, да вдруг как ляпну:

– Слушай, а не махнуть ли нам в страну отцов? Тут все равно не жизнь. Одно прозябание.

– Я готова, – ответила жена, но так же обреченно, как и в первый день нашей встречи. – Какая разница, где бедствовать.

И содрогнулось сердце мое, а душа приняла решение. Куда нужно идти, я знал: Иван Ефимович мне твердо помощь обещал. И он не отказался от своих слов.

– Вызов тебе через пару месяцев пришлют. Это пока не проблема. Куда решил ехать?

– А куда прикажут, – ответил я.

– Приказывать никто не будет... Я тебе советую – в Америку, там с твоей головой кучу денег огребешь. Из страны отцов пишут туманно. Твердо только то, что туда ехать нельзя, – никаких перспектив, кроме войны.

– Воевать можно молча, а в Америке язык нужен. Я всю жизнь немецкий изучал – на двойку...

– Иврит ты тоже не знаешь, а солдат из тебя, извини, хреновый. Денег на выезд наберешь?

– Еще не знаю... А сколько надо?

– В наши дни – мелочишка. Сколько вас, трое? Тысячи четыре всего.

– Всего? – крикнул я. – А где их взять?

– Найдем, где... – Иван Ефимович что-то записал в календарик. – У меня знакомый есть, фанатик...

Старьевщик один, аид, шестьсот рублей дал. Я же ему вернуть деньги не мог – и сказал, что не верну. «Богу отдашь, – сказал старичок. – Бог все принимает – деньги и души». Сорец нас свел. Мне сперва подозрительной показалась доброта старьевщика – ради чего такие деньжищи давать?

– Он что, миллионер? – спросил я в упор.

– Я его денег не считал, – сказал Иван Ефимович, – может, и миллионер. Он на синагогу тысячу рублей каждый год выделяет. И бедным на выезд дает. Еврей без денег – позор.

Я оскорбился на это, но про себя, потому что ругаться с Иваном Ефимовичем не смел. Однако подаренные деньги силу в меня вдохнули – стал шустрить по городу, обои клеить, кухни красить. Зимой снег с крыш сбрасывал – в феврале, когда ростепель была.

Вызов получил из кибуца «Масада» от какого-то Дафны. Побежал к Сорцу, чтоб выдумать родственную связь. Он меня стопкой водки угостил – за успех, и сказал, что покупает мою мебель за пятьсот рублей и что деньги я могу вперед взять. Я понял, что это – подарок, ибо мебель моя и полсотни не стоила. Ритка ожила – занадеялась, даже написала письмо на Украину матери – денег просила. Мать ее прислала перевод на тридцатник – ко дню рождения нашего сына. Ритка снова написала – сообщила, что мы решили выехать



за границу и вызов уже на руках, а денег не набрать. Ее мать ответила, что будет копить или займет, но больше тысячи, мол, не ждите. Мы совсем повеселели.

В августе, когда отпускники покидают город, чтобы нажраться в Крыму фруктов, мы с женой посетили ОВИР – подали заявление о выезде. В коридоре ОВИРа познакомились еще с двумя семьями. Матрона из одной семьи притиснула меня в углу коридора.

– У тебя, – спрашивает, – медленной скоростью много ящиков?

– У меня, – сказал, – ящиков нет, только два чемодана и спальный мешок под шмотки ребенка.

– Правда? А как же мебель? А инструмент?

– Мебель я приятелю продал уже, развалюха одна... Думаю, он бедности моей посочувствовал – купил, – признался я.

– А вы деньги уже собрали? – спрашивает.

– Не полностью. Думаю, за полгода доберу. Или в голландском посольстве займу.

– Не поздно будет? – сказала матрона. – Знаете, вы мне нравитесь. Я вам, как самой себе, верю. Послушайте, у нас багажа очень много – больше нормы, не могли бы вы взять на себя перевозку... а мы бы вам заплатили за это, а?

– Ну что вы! – ответил я. – За такое дело денег не берут. Мне, к примеру, старьевщик один шестьсот рублей дал без отдачи – помог от души своей.

– Вам же все равно деньги на отъезд нужны, так мы вам дадим, а вы наш багаж перевезите...

Сторговала она меня за семьсот рублей. У меня камень с души отвалился – деньги есть! – тысячу-то рублей мы сами наберем – кровь из носу!..

Вспоминать это муторно – ни радости, ни страха нет в воспоминаниях. А тогда каждая секунда была в трепете – как сердце выдержало? Не знаю.

Справился я с багажами. С государством расплатился за потерю гражданства. И в кассу Аэрофлота внес за два с половиной билета, ибо сын наш за полчеловека был сосчитан.

Последние два дня перед вылетом ничего не делал и не мог делать – голова раскалывалась от боли. Иван Ефимович навещал, дал адреса в Лос-Анджелесе и во Фриско – к родственникам. Я адреса дорогой потерял, да и не судьба мне жить в городах этих.

Вену я проспал. Италию видел на круглом рынке у вокзала в Риме и частично на берегу Средиземного моря, в Ладисполи. Головные боли прошли. И наступила полная неясность: как дальше жить? Английского языка ни я, ни жена не изучали, даже не думали о языке. Решили, что изучим в Америке, – не все же знают английский, кто едет, а в Нью-Йорке, говорили, даже и не нужно английского – на Брайтоне только по-русски разговаривают. Мы нацелились на Нью-Йорк. И прилетели. «Наяна» вселила нас в гостиницу, извините за выражение, полторы комнаты с унитазом. Началась Америка с электроплитки. Через десять дней сняли односпальную квартиру – «Наяна» оплачивала. Шесть

недель на курсы языка пешком ходили, я – утром, жена – после полудня, чтобы сына по очереди пасти... Потом жену направили на работу – галстуки по коробкам раскладывать. Я сам нашел работу – уборщиком столоярной мастерской – за сорок долларов, два дня в неделю. В другие дни недели искал работу по специальности. Жили экономно, каждую копейку откладывали – нужно было умному человеку заплатить, чтоб правильно резюме составил. Я на работу пешком ходил – полтора часа туда, полтора обратно. По субботам на Брайтоне одесситу одному, который овощную лавочку открыл, помогал, то есть таскал ящики и овощи раскладывал. Пришел груз «малой скорости». Я срочно открытку отправил в Атланту, мол, забирайте, ваше пришло. Забрали, а через неделю пришло письмо:

«Дорогие ленинградцы, мы вас выручили деньгами при отъезде. Не пора ли вернуть долг? Мы дали вам почти восемьсот рублей, так что двести долларов верните. Нам тоже деньги нужны».

Денег у нас не было. То есть около сотни было – на резюме. Ритка говорит, мол, не обращай внимания, мы им больше, чем деньги, вывезли, а у меня в душе вихри горькие. Сел за стол – я его на помойке нашел и подремонтировал как мог, – написал письмо, что денег нет, накоплю – отдам.

А Песя Перельман опять пишет:

«Это бессовестно. Мы вам помогли от чистого сердца. Муж не работает. Я болею. И даже здоровым

деньги нужны. Если через неделю не пришлете, я знаю, кому пожаловаться».

Через две недели пришел к нам хлюст – жидовская морда, по-другому не скажешь, – в кармашке кончик белого платка, под пиджаком жилетка, на пальцах перстни с камнями.

– Меня просили взять у вас должок, – сказал этот тип. – Вы Полину Моисеевну Перельман помните? Она вам писала. Писала?

– Писала, – подтвердил я. – Но денег у нас нет – не заработали еще.

– Послушайте сюда, – сказал гость, – я вас понимаю, но поймите и вы меня. Мне платят за мою работу, а не за разговоры. Если через пару дней денег не будет, я вашего сына продам.

О, как мне хотелось умереть в тот момент! Убить я его не мог – не было у меня пистолета, а руками мне не под силу: он – верзила, килограммов сто весом, махровый бандюга.

Рита заревела. И у меня слезы в глазах.

– Вон! – сказал я ему. – Пошел вон, подонок.

– Я тебя за приличного человека принял, – сказал гость. – Теперь вижу, что ты гусь лапчатый, – я тебе лапки обломаю. Если ты меня гонишь, я уйду – закон Америки! Но если мне скажут, возьми с него деньги, я возьму – это тоже закон Америки. А если ты мне еще грубое слово скажешь, твоя девочка сосать у негров будет за десятку, поверь мне.

И вышел, как аристократ, не закрывая за собой двери.

Бог мой, сколько грязи вынесли мы в первые три года! Полгода я кровью мочился – надорвался где-то. Однажды – под Рождество – отловили меня в супермаркете с баночкой растворимого кофе и маленькой шоколадкой, – хотел вынести без оплаты. Стыд-то какой! Думал, сгорю там... Менеджер, черный, понял меня – полицию не вызвал, сам заплатил за кофе и шоколадку, руку пожал и сказал на прощание:

– Донт ду’рат эни мо, раша, донт ду’рат.

Чем бы все кончилось, не знаю, – я подумывал застрелиться и разом решить все дела. Застрелишься, а Рита с сыном? В Америке похороны не бесплатно – тысяч пять-шесть надо, как пить дать, – не по карману эта роскошь. И прокормить ребенка она без меня не сможет... И вдруг пришел ответ на мое резюме...

Работа перенесла нас из Нью-Йорка в Даллас. Мы отъелись, прибарахлились, машину почти новую купили. И тут враги евреев – арабы сняли свои заказы, фирма лопнула, меня уволили. Илья, сын, в начальную школу ходил – в первый класс. Ритка училась бухгалтерии. Все рушилось, словно при землетрясении. Спрятал в карман свою гордость, побежал в синагогу – искать помощи. Не знаю, с кем разговаривал, но человек этот с трудом одолел мой английский и смотрел на меня с сожалением. Он бумажку с адресом подарил – адрес еврейского центра. Ритка, жена моя, как взглянула на адрес, так сразу возникла:

– Не ходи, прошу тебя, не ходи. Никто нам помогать не будет, только нервы себе вымотаешь. Перебьемся сами. Хуже было.

А я все же покатил в центр. Прикатил, вошел в высокую дверь. У входа стол канцелярский, и девица дежурит. Я говорю, спотыкаясь. Она улыбается понимающе, а ничего не понимает. И вдруг просияла:

– Ар ю рашин?

Она направила меня в седьмую комнату, сказала, что там по-русски понимают. Приоткрыл я дверь в этот рай и обомлел – глаза в глаза смотрела на меня улыбающаяся Песя Перельман, – вот где свела нас жизнь.

– Заходите, заходите! – заворковала Песя.

А у меня как осколки стекла в брюхе затряслись, и кровь в голову бросилась.

– Нет, нет, спасибо, – сказал я ей. – Я ошибся. Пожалуйста, не присылай ко мне гангстера за это, а то я его убью с тобой вместе.

И дверью треснул с такой силой, что через мгновение послышались слова о полиции. Однако меня не тронули – вслед смотрели испуганно и... враждебно.

«Хонду» свою без приплаты обменял на грузовик и стал грузчиком для самого себя – нанялся с машиной работать по доставке. Жена нашла работу по уходу за детьми – два дня в неделю за наличные. Сын школу не бросил. Мотался я по городу с семи утра до семи вечера, скопил чуток деньжат – тайком от жены, чтобы не беспокоилась о моих планах. А потом открыл мастерскую по ремонту телевизоров –

рискнул. Первый год еле концы с концами свел. Но разгулялось – не по ремонту, а по перепродаже... Ну и ремонт что-то приносит. Недавно китайца в помощники взял. Вроде бы жизнь вошла в правильную колею. Стал на рыбалку выезжать. Думаем на Багамские острова на недельку махнуть... А в душе затаилась тревога – вглядываюсь в душу свою, хуже того – жду видений. Десять лет назад, когда умирать начал, подобное ощущение в душе было. И видения пришли – о грибах... Вижу я, что жизни никакой нет – одно существование, въживание для того, чтобы умереть в срок свой. Разве это по-людски? Вглядываюсь в душу, словно препарую самого себя. Тесно душе моей. Третьего дня в бизнес мой пришел русский из евреев – телевизор покупать.

– Здравствуйте, – сказал он по-русски с самого порога.– Я по вывеске вижу, что свой человек торгует. Вашу фамилию с американской не спутаешь.

Разговорились мы с ним за всю Одессу. Я его в китайский ресторанчик обедать сводил. Слушал его, сочувствовал. Потом рассказал про Песю Перельман.

– Каждый народ, – сказал он, – имеет право на свой процент негодяев, и евреи не исключение...

Я и раньше эту аксиому слышал – от гангстера, которого Песя наслала. Не воспринимаю этой истины, ибо похожа она на похвальбу преступлением. Нет никакого процента негодяев в народах, есть сами негодяи. Возможно, что и я не исключение, потому что позволил гостю своему заплатить за обед, хоть и знал, что денег у него – кот наплакал.



## СОБАЧИЙ СОН

**В**от уже десять лет проживаю в Хьюстоне. В прежние годы выезжал по выходным дням на дикий пляж Мексиканского залива или в полудикий парк, чтоб душа отдохнула от коммунальных свар хоть сутки. Коммунальных – это, конечно, преувеличение, правильнее сказать – полукоммунальных, так как я проживал в отдельных квартирах, но трижды менял место жительства из-за свар. Хьюстон – город южный, а деловые люди в нем холодны и жадны, поэтому жадины строят почти спичечные здания (внутренние перегородки из сухой штукатурки в полдюйма



толщины, а между плитами треть фута пустоты; однажды хлопнул в стену кулаком и пробил насквозь). В домах-апартаментах шумы всех соседних квартир проникают сквозь стены беспрепятственно, иногда вместе с запахами. Часто думал: оглохнуть бы, но это, естественно, была самоложь для укрепления духовной сопротивляемости аборигенам...

И вот удалось купить дом...

Везение мое было вполне закономерное и даже неизбежное – надо было оказаться дураком и лодырем, чтобы не купить дом. Нефтяной бум, грохнувший в Хьюстоне в конце семидесятых годов, утратил силу уже в 82-м году, а к 87-му в нефтяной промышленности гуляла паника, нефтяные компании сокращались, лопались, объединялись, чтобы выжить, а специалисты-нефтяники побежали из Хьюстона на новые заработки, побросав свою недвижимость. Большую часть брошенных домов приобрела городская власть и стала их продавать с большой скидкой, запрашивая задатком только сто долларов. Сто долларов не деньги, даже нищий может наскрести такую сумму, я же – привилегированный нищий, то есть трудящийся, у которого есть, по крайней мере должен быть, трудовой доход...

Жена поначалу запротестовала: зачем, говорит, покупать, когда можно потерять, если не уплатишь за месяц. Но мне так мечталось избавиться от коммунальных шумов и запахов, что женской мудрости я противопоставил мужскую хитрость.

– Мы не можем ничего потерять, – сказал я, – потому что ничего не имеем. Пока работаем оба, мы живы, а потеряем работу – потеряем все: за аренду тоже платить будет нечем. Какая же разница, что терять – дом или квартиру? А вдруг не потеряем? Хочется пожить по-людски...

Женщины, как правило, поддаются уговорам, даже жены. Но прежде чем жена согласилась, случилась неприятность, которая, исчерпав себя, обернулась почти благодатью. На работу жена ездила на старом «додже», машина ей не нравилась, и, чувствуя неприязнь владельца, «додж» что-нибудь ломал в себе, расквитываясь за нелюбовь материальными ущербами. Другая неприятность была хуже. Мы прожили в Хьюстоне шесть лет, учились английскому языку, слушая телевизор, но разговаривать на местном языке почти не умели. Мне-то что, мои годы преклонные: еще десять лет – и на пенсию, а жене еще работать и работать, поэтому надо бы изучить ей английский, думал я. И надумал. Говорю ей: знаешь что, дочка – еще маленькая, а ты – молодая, иди-ка ты учиться в институт, получишь специальность и научишься разговаривать, ибо нужда заставит. Жена подумала и согласилась, потом съездила в колледж и записалась на сдачу вступительных экзаменов. Хуже того, сдала экзамены в начале декабря 1986 года. Курс обучения начинался с января 1987 года, и я поклялся самому себе, что ездить учиться она будет на новой и красивой машине. Клятвopеступление моей душе не свойственно, поэтому после-

дние десять дней декабря я мотался по городу, ища нечто недорогое и приличное, технически совершенное и эстетически приятное, и, естественно, не находил, ибо добротность очень редко стыкуется с дешевизной.

И все же я нашел из полумиллиона подержанных автомобилей то, что хотелось: аккуратненькую спортивную машинку. Выглядела японочка неплохо, хотя одна ее сторона была чуток помята, а спидометр указывал, что за пять лет жизни она пробежала сто тридцать тысяч миль или около двухсот тысяч километров. При заключении сделки с продавцом потребовалось согласие страховой компании, иначе машины в рассрочку не продают. Сделку подписали 31 декабря, и в Новый, 1987 год под окнами нашего жилья стояла очаровательная машина, возбуждая зависть в моей собственной душе.

Зависть была недолгой. Через пятнадцать дней страховая компания прислала счета и бумаги, обеспечивающие страхование, но оплатить эти счета мы не могли — нечем было, да и смысла не было, так как страховщики потребовали сумму, равную стоимости машины. Разорвав страховой контракт, мы оказались бы в тупике: без страховки ездить нельзя, кроме того, продавец оставался совладельцем машины и мог ее конфисковать за нарушение условий сделки. Нужно было срочно гасить задолженность, заняв наличные у друзей и знакомых... Мы справились с этой невзгодой и к апрелю месяцу даже рассчитались с долгами. Мы еще не знали, какое благое дело совершила эта машина, заставив нас скаредничать, дро-

жа над каждым центом. В апреле мы впервые увидели рекламу продажи домов, брошенных владельцами. А в мае нашелся агент по продаже недвижимости, ленинградка, бывший инженер, с которой я созвонился по телефону. Дело закрутилось. Дело должно было крутиться по той причине, что у нас оставалось всего три месяца на поиск дома и на всю бумажную волокиту, завершающую сделку, – три месяца летних каникул дочери: надо было успеть к новому учебному году записать ее в школу по месту жительства, иначе открывалась милая возможность возить ее в старую школу каждый день и каждый день забирать из школы домой. Мне же недосыпов хватало и без этой нагрузки. Дело закрутилось, но с места не двинулось, так как дома хоть и были вполцены, но все же дороги для нас: финансисты дают в долг тогда, когда убеждаются, что просящий способен оплачивать рассрочку, кроме того, должна быть незапятнанная кредитная история, рассказывающая о платежеспособности просителя кредита. Предварительный подсчет показал, что мы можем рассчитывать на дом стоимостью не дороже сорока тысяч, если финансист даст в долг под десять процентов. Как назло, дома дешевле сорока тысяч мне не нравились, а жена вообще отказалась от поисков, доверив покупку мне. Часы сна в каждых сутках моей жизни урезались до скорбного минимума, только в выходные дни выпадало по восемь часов, по будням же получалось четыре-пять, причем два часа после работы и два часа перед. Агент мой раздражала меня медлительностью, похоже

было, что ее не очень заинтересовала работа на меня: агенты по продаже недвижимости не получают зарплаты, им платят определенный процент с каждой сделки, поэтому в случае моей удачи агент получила бы две или две с половиной тысячи, а за продажу дома стоимостью, например, 200 тысяч – 12 тысяч комиссионных. Наступил уже конец июля, я так устал, что готов был отречься от поисков и от надежд. И тут агент показала мне дом, почти новый внешне, слегка поврежденный внутри, стоимостью как раз в сорок тысяч. Я, не торгуясь, согласился с ценой и подписал предварительную купчую. Агент снеслась с владельцем дома, и сделка утвердилась, оставалось лишь найти финансовую организацию – кредитора. Была бы шея, говорят на родине, а хомут найдется. Нашелся и кредитор, который в этом месяце давал кредиты под десять процентов. Деловой компьютер, при помощи которого проверяют кредитоспособность, вдруг выдал неожиданную весть: кредитоспособен, имеет кредитную историю от «Форд кредит компани». Мы купили японочку у Форда, нам открыли кредит, а страховая компания вынуждала срочно погасить его, – и в памяти компьютера осталась добрая репутация кредитоспособного человека. Финансист был подкуплен мудрой машиной, я очарован своей способностью платить по счетам, а наш агент была довольна тем, что, потратив на нас незначительное время, все же две с половиной тысячи заработала.

Дом скоро обжился, а времени для сна появилось столько, что я мог бы спать по десять часов в день,

если б умел. Въехали мы в свой дом 12 августа 1987 года, и с этой поры прекратились наши выезды на дикую природу. Везде хорошо, где нас нет, а дома еще лучше. Ленишься в своем доме – блаженство, и работать по благоустройству дома – удовольствие. А коли завелся дом, то какой же дом без собаки? И ребенок ноет: хочу собаку. И я думаю: «Пистолет купить – кого-нибудь убить, лучше уж собаку, которая будет другом семьи и врагом всем иным землянам». Жена не сопротивлялась покупке собаки, но предупредила, что не знает, как ей понравится жить с собакой в одном доме. Я успокоил ее: мол, если со мной живешь, то и с собакой уживешься. А дочка принесла газету и пальцем показала, где продается щенок всего за двадцать пять долларов. Это был охотник из сеттеров, рыжий и улыбчивый, немудрый и пугливый паренек. Мне случалось наказывать его за безобразия, но он только тупел от наказаний и продолжал старательно гадить на уже и без того изгаженных местах. Однажды я работал в гараже, а пес лежал у гаражной двери – наблюдая за мной, и вдруг порыв ветра свалил «запасную» оконную раму с таким треском, что пес подпрыгнул, как на пружинах, и убежал... Найти его не удалось. Тоски от потери я не чувствовал, но в доме стало чего-то не хватать, – видимо, собака в доме существует как компенсатор, при помощи которого мы разряжаемся от своих недостатков. Подло, конечно, по отношению к доисторическому другу человека, но полезно здоровью, которое избавляется от стрессов не при помощи наркотиков, а вып-

лескивая шлаки характера на безответное существо. Возможно, у дочери не было такого жесткого смысла в дружбе с собакой, но нехватку она чувствовала, – должно быть, нехватку живой игрушки.

Через два месяца после бегства Рыжего мы пришли к выводу, что собака нам нужна, только не охотничья, а сторожевая. Купить щенка чистых кровей мы все же не могли: дорого. Полукровка же, что по-русски – дворяжка или дворянин, вполне соответствовала бы нашим запросам, ибо дом и двор у нас был, а при дворе любая персона является дворянином или дворянкой...

...И мы отправились покупать щенка, ибо пустует дом без хозяина, а двор без собаки. Поездка была дальней, да еще в пригородах я плохо ориентируюсь, поэтому мы искали дом, где продавались щенки, часа четыре. И нашли. И перед нашими глазами, у наших ног стали крутиться черненькие существа с купированными хвостиками, словно капли туши двигались по ковру. Одна из капель время от времени тормозила, вздымала по-волчьи мордочку и тоненько выла, а братья и сестры равного размера были молчаливы и неустанны в движениях.

Отчего-то моей дочери приглянулся певец, вытель, зазывала; мне было безразлично, какой именно щенок станет нашим: ведь воспитание и к людям и к собакам приходит от старших, и я мнил, что могу вырастить доброго пса.

Попав в наши руки, щенок прекратил выть, вероятно, от удивления чужим запахам и от тряски машины. С первых же минут выяснилось, что блох на нем го-

раздо больше, чем населения в пригородном городке, где мы его покупали, поэтому по пути к дому мы приобрели шампунь для блохастых собак, ибо в нашем хозяйстве блохи не требовались.

Щенок был страшненький, глазки еще голубели, а кончик маленького хвостика был лысым. Он дрожал в ознобе и совсем не желал лежать на сиденье машины, не прикасаясь к человеку. С первых шагов в своем новом имении дворянин завыл тонко и требовательно, словно мулла на вечернем намазе. На всякий случай я предложил ему блюдце с молоком, как котенку, и он в считанные секунды вылакал молоко, раскрыв секрет своих пеней. Потом мы вымыли его собачьим шампунем и высушили в собачьем полотенце. Был он с ладошку длиной, лапки тоньше кошачьих, а ходил чуть шатаясь. Жить его определили во дворе, постелив на крыльце ветошку, как постельное место.

С наступлением сумерек песик заплакал – без воя, горько, как плачут брошенные на произвол судьбы беспомощные дети. Пришлось выйти на крыльцо и опустить к крыльцу руку, чтобы щенок натыкался на запах и тепло и знал, что он не одинок в этом темном мире. Мою поддержку он понял на свой манер и стал пытаться залезть ко мне, но ни сил, ни величины его не хватило на этот подвиг.

Я посадил щенка на подстилку и сказал:

– Сиди. Место. Понял? Место.

Он вздохнул и свернулся в клубок, а я, чрезвычайно довольный собачьей сообразительностью, улегся на раскладушку.



Стоило мне задремать, как я услышал царапанье: щенок пытался одолеть высоту моего ложа, используя опору раскладушки, как лесенку, и постоянно срывался. Уважая упорство щенка, я втащил его на раскладушку и погладил головушку.

Он понял, что его поощряют и ползком отправился на поиски своего места на моей постели.

Он отыскал место – подлез между моим боком и рукою – под мышку, вцепился зубками в то, что можно назвать моей шерстью, зачмокал и уснул, нисколько не думая, что лишает меня сна.

Как спать, ежели этого друга человека можно раздавить, повернувшись, или задушить, накрыв одеялом? Как бы то ни было, но с первой ночи он стал считать меня воплощением святости и могущества, чем обычно награждают дети родителей, пока не подрастут. Назвали его Маркизом, в честь его предшественника.

Вырос Маркиз веселым и крепким парнем. Не зная врагов, он грозно лает на чужие звуки и запахи, но при встрече с людьми веселится и играет, словно каждый в этом мире ему друг, товарищ и брат. Он стал умен и показал, что имеет крепкую память и легко дрессируется. Он позволяет мять себя, отнимать у него еду, таскать за лапы, теревить уши, валять по полу, как тряпку. Во время издевательств над ним рычит от восторга и счастья. Он съел за время взросления не более десяти пар обуви и изуродовал подлокотники всего у одного кресла. Он ест все, что едим мы; кажется, из зависти или из

чувства верноподданности, он не избегает этой собачьей еды. Любимое блюдо Маркиза – кости. Кроме того, он влюблен в бананы и виноград. Ест он изюм и капустные кочерыжки, а также соленые огурцы и дольки чеснока, если предложить ему все это с руки.

Маркиз – хороший друг, внимательный, заботливый и ласковый. Его наказывают только за хулиганство, точнее – за чрезмерную веселость нрава или за чрезмерную заботу о доме. Например, увидев, как я сажаю виноградные лозы, он ревниво разрывает их и... получает жестокую порку. Во время моего предтрудового сна Маркиза одолевает резвительное веселье. Мебель от его толчков двигается, как живая, и грохочет. Тогда жена его лупит, чтобы успокоить.

Маркиз обычно спит в нашей спальне, растянувшись вдоль кровати или улиткой на боку. В детстве он залезал спать под кровать, теперь же этого не позволяют его размеры. Спит он так же долго, как и я. И нам снятся, очевидно, одинаковые сны.

Вот такое долгое вступление пришлось мне сделать, прежде чем рассказать о коротком и странном сне, в котором мы с Маркизом были неразлучны...

...Был прохладный октябрьский день. Я уснул около семи утра и не слышал, как дочь ушла в школу, а проснулся от грохота мусорных бачков в подворотне, как это бывало и на Васильевском острове в Ленинграде. Я сел на кровати. Маркиз был у моих голых ног и повизгивал.

– Потерпи, – сказал я ему. – Умоюсь и покормлю тебя, о’ кей?!

Он закрутил обрубок хвоста и сунул морду мне под ладонь.

– Господи, – сказал я, – какие нежности, – словно ты меня годы не видел. Сказано – потерпи, и сиди спокойно.

Пока я умывался и чистил зубы, одевался и охал, Маркиз терпеливо ждал в спальне, а как только я шагнул из комнаты, он выпрыгнул вперед меня и подбежал к двери во двор, тот самый двор-колодец с бульжным покрытием, который я видел каждый день на Васильевском. Маркиз был рядом, улыбался и царапал по бульжнику лапой.

– Пойдем-ка поглядим со стороны, – сказал я Маркизу.– Уж больно реальные сны снятся, надо бы их развеять.

Шагнув со двора, я увидел улицу с высокими домами, которые стояли плотно – плечо в плечо, высокие дома – многоквартирные, не такие, как в одноэтажном Хьюстоне.

Вдоль домов бежали панели, а между ними и проезжей частью стелились газоны без травы. Все это было похоже на Васильевский остров: дома знакомые, европейские дома, только улицы пустые, даже у подворотен – ни души.

– Маркиз, – сказал я, – где наш дом? Ищи.

Он обежал вокруг меня, пустился к газону, и мы оказались на 14-й линии, где десять лет назад были начаты большие работы по капитальному ремонту, но так, очевидно, и не кончились. Я жил на 10-й – и мы пошли дальше.

– Все течет, все изменяется, – сказал я псу. – Как видишь, фасад уже покрасили и скоро перейдут к внутренним работам.

Маркиз ничего не ответил, он шел, как ученый, нога в ногу, не спеша и не отставая, чтобы не беспокоить меня. Вдали поперек улицы промчался красный трамвай и разнес в пыль мои сомнения: во сне трамваи не бегают – это была реальность, до боли знакомая еще с детства.

Рванул ветер – пронесся волной вдоль домов и завернул шерсть на спине Маркиза. Ветер был холодный.

К Среднему проспекту мы почти уже выходили, но так и не вышли. Мы вышли на Садовую, к церковному саду у Никольского собора, и попали в густую толпу пешеходов, которые стремились к кинотеатру «Рекорд», к тому самому, что у Сенной. Возле кинотеатра была очередь за билетами на утренний сеанс, и я подумал, что рано проснулся, мог бы еще спать до полудня. Маркиз занял позицию возле мусорной урны и стал охранять ее. Протягивая кассирше десять долларов, я сказал:

– Пожалуйста, четыре на десять сорок.

– Больше двух билетов в одни руки не продаем, – сказала кассирша.

– У меня собака, – сказал я.

– Собак в кино не пускаем, – сказала кассирша.

– Даже на три билета, – прошептал я и отошел от кассы.

Я не успел опечалиться: соседка по очереди, взглянув мне в лицо, протянула два билета.

– Возьмите мои, – сказала она, и я узнал в ней соседку по дому и сокурсницу моего бывшего обучения в техникуме, Ирку Глезину, большеротую, как французская булка, и обаятельную, как серебристый ландыш.

– Привет, Ирка, – сказал я. – Пойдем в кино.

Я оглянулся в поисках Маркиза. И вдруг увидел его сидящим в кинозале, причем одной лапой он держался за спинку стула переднего ряда. Он сидел между двух блондинок: черный пес с разинутой пастью, язык у него свисал на полфута, клыки сияли в предательской улыбке, а глаза на меня не смотрели, они были устремлены на экран, где еще не начиналась картина.

Я озверел: я его вскармливал, я с ним возился, я учил его, лечил его, пел вместе с ним песни, считал его за младшего сына, а он, сучье племя, увидел девок, развалился, язык высунул... и... кайфует.

«Хорошо, что рядом с ним не дочь моя и не жена», – подумал я, и вдруг боль пронзила мне сердце, и ярость выплеснулась одним ударом.

– Маркиз, ко мне! – заорал я и ударил своего лучшего друга рукой.

Руку я ушиб и проснулся в своей кровати, в своей спальне. За окном был виден наш дворик, а рядом с постелью сидел Маркиз. Как только я сел на постель, Маркиз поднял лапу и положил ее на мое колено.

«Зачем ты истязает меня, – словно говорил его взгляд. – Зачем ты меня бьешь, неверный. Мне обидно, когда меня бьют».

– Подожди, – сказал я. – Я проснусь, и мы пойдем гулять и споем... Будешь со мной петь?

«Нет», – сказал взглядом Маркиз. И мне показалось, что я увидел в его глазах слезы.

– Ты плакал? – спросила, входя в спальню, жена. – Что тебе снилось? Тебя обижали?

И она стерла ладонью слезы с моих щек.

– Никто меня не обижал, – ответил я, – снятся мне тут собачьи сны, хоть спать не ложись. Не поймешь, где живешь – то ли в Хьюстоне, то ли на Васильевском острове.

– Зато поспал хорошо. Когда ты лег?

– Около семи.

– Вот видишь, а сейчас три. Вставай обедать.

Какбудто я и не спал. Ленинград, ветер холодный, асфальт..

– Я закрыла окно, чтобы не дуло, – сказала жена и вышла на кухню.

Я снова закрыл глаза и задремал.

– Видишь, – сказал я Маркизу, – мы снова дома...

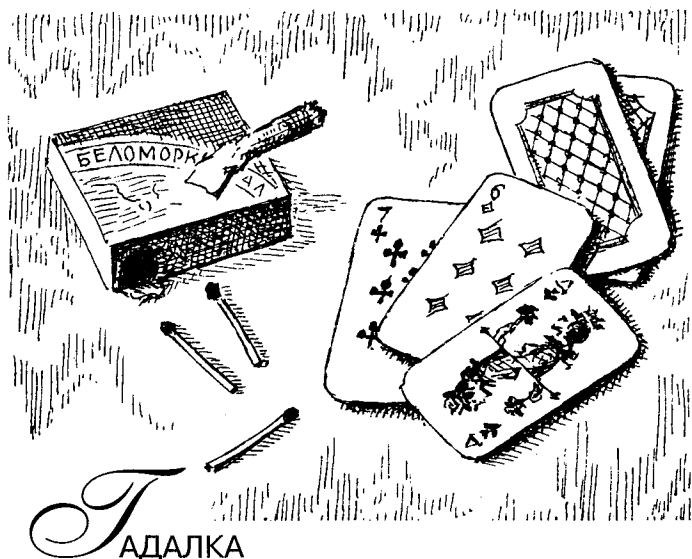
– Видишь, – повторил пес, – мы снова дома... За окном Васильевский остров.

Я почувствовал, что кровать ускользает от меня, что ноги стоят на 10-й линии, и сбоку зеленый скверик, а с другого боку – мой дом, и материки разбегаются с невидимой скоростью, и нет во Вселенной такого места, где можно было бы легко вздохнуть и отдохнуть. Особенно от мыслей.

– Ты встаешь? – раздался голос жены. – Суп уже налит!..

Еще раз очнувшись, я разглядел спальню и себя в зеркале. Маркиза рядом не было. Шуршали за окном виноградные листья. Где-то трещала косилка, и в гостиной не по-русски говорил телевизор.

Я слушал, и мне хотелось плакать.



## ГАДАЛКА

**Г**адалка гадает — карты летят и падают, вот крестобразовался, тут трилистник, а рядом поперечина. Картинки на картах привычные, о которых много не скажешь, а гадалка их насквозь видит, видит и рассказывает, рассказывает и не зевнет. Хоть бы цыганкой была, а то полутатарка и полуеврейка — Роза Рафаиловна.

Смеркалось, когда она вошла в комнату, — только-только свет включили. Толстенная, глаза азиатские, нос картошкой, и веснушки на носу. Причесана гладко, волос черный и сальный, над раскосыми глазами бровки тонкие, в

ушах сережки дутого золота – громадные, почти до плеч, а на плечах пестрая кашемировая шаль. Ее без шали и не нарисовать – без шали она невозможна: только отверни шаль – грех случится. Шалью Роза Рафаиловна прикрывает свою богатырскую грудь. Блуза тоже прикрывает, да не очень – блуза держит грудь Розы Рафаиловны на правильном месте, а уж по блузе лежит шаль, пряча два такие полушария, что нечасто на глобусе встретишь. Лицо у гадалки молодое – ни морщинки, а зовут ее по имени и отчеству – все, даже старики, только участковый мент обращается к ней по фамилии: Никольская.

Вошла Роза Рафаиловна в комнату, и все ожили, а вещи – зашевелились. Колька Буянов сидел у окна, читал экономическую географию и старался запомнить, в каком месте родной страны лежат или растут богатства. Вошла Роза Рафаиловна и спрашивает:

– Уроки делаешь, Коленька?

Онемел Колька Буянов – язык в небо врос, а глаза стали колесить, как у международного актера Крамера – с Кавказа на Аляску до Кубы и обратно. Возможно, Роза Рафаиловна помогала его глазам – подошла к окну так, что оба ее полушария оказались чуть ли не у носа Кольки Буянова.

– Отдохни от уроков, сделай перерыв, – продолжает Роза Рафаиловна.

– Вот уж правда, отдохни, – поддерживает ее Колькина мама. – То ты мечешься, как оглашенный, то в книгу вдудулился...



Роза Рафаиловна полной ручкой коснулась Колькиной книги и уронила ее на оттоманку. Колька дернулся за книгой и наткнулся на Розу Рафаиловну.

– Ты меня кусить хочешь? – спросила она. – Не надо кусаться...

Колькина мама стригла овощи в миску – салат сочиняла, а ее приятельница Нина Андреевна сидела сбоку у стола и рушила крутые яйца – белок лапшою, а желток – крошечком, – обе они хихикнули друг дружке, как заговорщицы, и обе заговорили:

– Вы лучше ему погадайте, Роза Рафаиловна, он от гадания догадливей делается.

– Иди, Нина, чайник поставь, – почти сурово приказывает Колькина мама своей подруге...

– Я думала, винцо пить будем, а ты – чайник поставь...

– Кому винцо, кому чай. Кольке вот шестнадцати еще нет, какое ему винцо? Он без вина кусаться надумал, кусатель...

Роза Рафаиловна не слушает женщин, она смотрит в окошко и говорит:

– Мальчишки все еще мячик гоняют... Не видно ж ничего, как ног не поломают?

Колькина мама изготовила салат, убрала со стола и постелила льняную скатерть.

– Садитесь, Роза Рафаиловна, – говорит она. – Стол готов. Нина сейчас закусочки принесет...

– Я сперва Коленьке погадаю, хорошо?

– И Нине тоже, – просит Колькина мама. – Очень она тоскует...

Роза Рафаиловна прокатывается по комнате, шаги ее не слышны, только волна аромата расплзается следом за нею.

Вот гадалка присела к столу, из-под шали извлекла колоду карт, схваченных круглой резинкой. И полетели карты, замелькала узорная синяя рубашка колоды под волшебными пальцами Розы Рафаиловны.

– Сними от себя правой рукой, – просит Кольку гадалка и распахивает три карты: даму червей, восьмерку пик и шестерку бубен. – Ах, как юность нетерпелива! – ахает гадалка. – Будет тебе червонный интерес со скорой дороги при большом веселье, Николай. Будет у тебя зрелая дама, разумная и покладистая... – Тут вылетела дама трэф поперек. – Это вдова, – продолжает гадалка, – похоже, что мама твоя, она держит все твои интересы вместе... Возможно, я ошибаюсь, и дама трэф тебе не мама, а некая знакомая, некая мадам Икс, которой ты не безразличен...

Колька чувствует, что становится крупнее себя самого и значительнее экономической географии, он большой и заботливый, как плакат:

*Страхуйте свою жизнь в Госстрахе!*

Он чувствует себя над улицей защитником от ветра, его плечи стоят между домов, а под ногами звякает, убегая, трамвай. Он слышит мягкий аромат, исходящий от Розы Рафаиловны, ноздри у Кольки играют и глаза жмурятся.

– Сними к себе левой рукой, – говорит гадалка. – Мы сейчас узнаем, что у тебя на сердце...

Колька Буюнов тащит половину колоды с ладошки Розы Рафаиловны на себя – карты не скользят, словно их склеили. Колькина рука в изнеможении валится на стол, соскальзывает со скатерти и ложится на колено, а колено почему-то вздрагивает.

Роза Рафаиловна закатывает глаза к оранжевому абажуру и открывает восьмерку бубей и пикового короля, опаловые цветы на ее кашемировой шали начинают полыхать.

– Я так и знала, – говорит гадалка, – что тебе станет мешать военный. Есть у тебя такой неприятель? Учитель, который был на фронте? Есть кто-нибудь, кто тебе завидует? Нет?

Колька крутит башкой, отнекиваясь, и молчит.

– Это странно, – задумчиво произносит Роза Рафаиловна. – У этого субъекта явный противоположный интерес – он тебя подозревает. Подумай хорошенько, кто может тебя подозревать, кто может тебе завидовать? Можешь не говорить, но подумай и поберегись. Вот, придет к тебе известие о твоей тайне, и тайны уже не будет, а у тебя будут важные бумаги, эти бумаги поведут тебя по судьбе. А рядом с тобою тревога, она не страшна, о ней не знает никто, кроме тебя, и я верю, что ты покоришь эту тревогу. Вот и девочка появилась, однако у нее к тебе больше влечения, чем у тебя к ней. Не знаю, хорошо это или плохо, но молодой человек должен быть внимательным к женскому полу. Верь мне, женщинам только внимание и нужно, они верят вниманию и прощают мужчинам даже хамские поступки...

– Ой, верно! – кричит Нина Андреевна. – Я своему дураку все прощала, если он цветочек дарил, вот и допрощалась – совсем сбежал, и цветочки в книжке засохли.

– Тут лежат три карты, о которых говорить не хочется, – не слушая Нину Андреевну, продолжает гадалка. – К ним относятся и эти две – валет пик и девятка треф. Предупреждаю тебя, Коленька, ты доверчив и неосмотрителен. Будут тебя заманивать в игру, и ты согласишься. И проиграешь. Тень проигрыша будет у тебя до взрослых лет. Понимаешь, о чем я говорю? Человеку редко бывает хорошо, особенно невоспитанному...

– Кто их нынче воспитывает? – говорит Колькина мама. – Сами воспитываются кто-где, Нюркин сын квартиру ограбил, теперь его в колонии воспитывают. А ведь дружок был Колькин-то. Смотри мне, следом не полети, шляешься целыми днями, где тебя черти носят?!

Колька Буянов уже не чувствует себя вежливым плакатом Госстраха, он сжался внутри себя мячиком – его можно закатить под кровать, спрятать в ящик комода или под подушку. Одновременно в глубине его груди что-то вскипает и жжет, нечто вливается в кровь и бежит огнем по щекам.

– Не полечу, не беспокойся, – шипит Колька. Волшебные пальцы Розы Рафаиловны ложатся на карты – каждый палец – указка, ноготок каждого пальца похож на тыквенное семечко.

– Посмотри сюда, – тихо говорит она, – это карты твоей жизни, ты – долгожитель, проживешь больше се-

мидесяти лет. Ты будешь женат, у тебя будет двое детей – мальчик и девочка. Но это еще не скоро. Скоро у тебя другое – скоро у тебя будет любовь и исполнение желаний. Я не ошибаюсь – я это знаю, только ты сам можешь изменить правду карт. Есть люди, как вода, они текут по течению, они не задумываются о судьбе – им все судьба, и дни их легко рассказать по картам. Есть люди – огонь, порох, пых! Они тоже открыты картам. Лишь некоторые покоряют голос карт – они владеют собой, они ведут себя туда и так, как они это задумали. Это умные люди и страшные люди. Ты вспыльчив, Коленька, ты мечтаешь и, наверно, думаешь иногда – перед тобой полный выбор путей. Всмотрись в себя, узнай себя и выбирай себе путь. А от любви не скроешься, поэтому не бойся любить. Ты еще не влюблен?

– Еще не в кого, – туманным голосом сказал Николай.

– Влюбись в меня, – сказала Роза Рафаиловна.

– Вас он давно любит, – вмешивается Колькина мама. – Я замечала, как он из окна на вас смотрит – как влюбленный.

– Что ж, я не самая противная женщина в мире, – улыбается Роза Рафаиловна.

– Кругом шестнадцать, – кивает Нина Андреевна.

– При высоком росте бы... а я – коротышка.

– У вас все на месте, – утешает гадалку Колькина мама.

А Колька чуть ли не плавится, слушая женские слова. Колька давно влюбился в Розу Рафаиловну – еще тогда, когда не знал ее имени, не знал ее возраста, не знал ее

занятий – увидел на улице женское существо со спины – мягкое, подпрыгивающее, легкое, – и задохнулся желанием. Он тогда побежал следом за нею, а зачем бежал – и не думал. Догнал, задышался и, ни с того, ни с сего, погладил женскую особь по плечам и талии. Она была тогда чуть ниже его ростом, это за последний год Колька вытянулся – теперь она была ему до плеча только.

...В тот день Роза Рафаиловна была одинока и сдержанна и чувствовала себя несчастной. Мальчишеская ледяная рука скользнула по ее телу, а следом за холодом руки по ее коже покатила волна тепла – теплая волна хотела задержать чужую руку, но сила волны была слишком велика – она испугала, и рука отпала, как парализованная.

– Ты ошибся? – спросила она. – Я похожа на твою подружку? Не смущайся, пожалуйста. Я не виновата, что выгляжу старой толстой клячей...

– Вы – не-е-е, – протянул Колька.

– Ты где живешь? Проводи меня, если по пути...

Когда они подошли к дому, она спросила:

– В квартиру шестнадцать как пройти – с улицы или со двора?

– Я живу в квартире шестнадцать, – еле ворочая языком, сказал Колька.

– А Клавдия Ивановна – твоя мама, так?

Колька смог кивнуть, на слова у него сил не было.

– Как я сразу не узнала? – удивленно спросила сама себя Роза Рафаиловна. – Вдова с ребенком... хотя ты уже почти не ребенок.

Колька открыл входную дверь своим ключом и без причины громко заорал прямо с порога:

– Мам, к тебе гостя пришла! Встречай!

В тот день Колька узнал имя маленькой женщины и ее странную профессию – гадалка, и с того дня мать с гадалкой стали приятельницами...

– Ты меня слушай, а не мечтай, – говорит Роза Рафаиловна. – У тебя глаза, как у сонного...

– Потому что вы уже все это раньше гадали, – отвечает Колька.

– Это у тебя судьба упрямая – не меняется, не могу же я оговаривать карты – я их читаю.

– Зачем тогда по-разному говорить про одни и те же карты? – допрашивает Колька Буянов.

– Ты что цепляешься? – обижается Колькина мама. – Тебе, дураку, одолжение делают, слушать надо!..

– Вот и слушай, я наслушался досыта, – рычит Колька.

Мать не успела шлепнуть его по башке – Колька сорвался к двери и убежал на улицу.

– Характер... – вздохнула Роза Рафаиловна.

– Бешеный, как отец был, – со злобой и радостью призналась Колькина мать. – ...Ой, девоньки, давайте выпьем, что-то муторно на душе.

Колькина мать тащит из буфета флакон лимонной настойки и темную большую бутылку кагора, потом снова спешит к буфету за стопочками, вилками и плоскими тарелками под салат.

– Розочка Рафаиловна, гадани мне, – просит Нина Андреевна, – вдруг король какой навяжется.

– Дайте мне руку, – просит гадалка.

– А на картах нельзя? – интересуется Нина Андреевна.

– Рука ваша, а карты – мои, что лучше? Помните, говорят: как на ладони. Так и скажу – как на ладони, ничего от себя не прибавлю.

Ладонь у Нины Андреевны плоская, сухая, как доска, и очень белая, а по белой этой ладони разбежались трещинки, линии, узоры судьбы. Роза Рафаиловна осторожно трогает ладонь – обводит пальцами и нежно сжимает ее.

– Где вы работаете? – спрашивает она.

– В киоске, газетами торгую, – нехотя отвечает Нина Андреевна.

– А рука у вас натруженная...

– Стертая, – поправляет Нина Андреевна. – Я до газет за деньгой гналась – чаны мыла на бумажной фабрике, хлорка там, тальк да другая дрянь... Все равно денег не было – мужик пропивал...

– Деньги не любят рабочего человека, – говорит Колькина мать.

– Вот я и сбежала в служащие, – смеется Нина Андреевна, – а мужик мой сбежал от меня. Жизнь – ни мужика, ни денег.

– Налейте мне настоечки, – говорит Роза Рафаиловна. – Я вам не буду гадать. Супруга для вас мне не приворожить, – их не привораживают, их добывают, как уголь, как нефть, как золото. Поэтому мужья у нас, то как уголь, то как золото...



Колька Буянов сидит на подоконнике в парадняке напротив своего дома и смотрит в окно своей комнаты, где в конусе оранжевого света под шелковым абажуром видны три женщины: мать, ее подруга и гадалка. Колька глаз не сводит с Розы Рафаиловны, а ее видно плохо – ухо с серьгой видно, шаль видно и слои табачного дыма – курят все три женщины, значит, засели надолго.

– Еще пять будут, – шепчет Колька Буянов, – делать-то нечего, только петь...

Ему тоже хочется покурить, а нечего – денег на курево у Кольки не бывает. У Кольки никаких денег не бывает, разве на кино в воскресенье, если мать даст. Колька уже решил бросить школу и пойти вкалывать на завод, только бы дожидаться получения паспорта – дожить до шестнадцати лет! Ему чудится, что за чертой шестнадцатилетия начинается счастье самостоятельности: своя работа, своя зарплата и свои вечера без домашних уроков. Кольку не пугает мысль, что он станет недоучкой, – читать и писать он может – и достаточно, инженеры не больше работяг имеют... Колька думает о будущем нервно и нечетко, он думает о будущем для того, чтобы погасить едучее беспокойство в теле своем, унять ноги, смирить колотьбу сердца, которое готово перевернуться в те мгновения, когда он видит гадалку в движении – то она руку вскинула с рюмкой, то головой мотнула – и серьга мотнулась, и как бы улыбки рассыпались вокруг ее головы. И вдруг Кольку озарило: он дождет гадалки, он возьмет ее

под руку и проводит до дому ее, а там – во дворе, где она живет, там темно, там лабиринт дровяных поленниц – там он притиснет ее и – поцелует! И оба ее полушария будут тут – в руках!..

Из-под абажура исчезла Нина Андреевна и снова вернулась. Опять гадалка вскидывает руку с рюмкой и трясет головой.

«Надолго, – думает Колька, – еще бутылка начали»

В подворотне его дома появляются два пацана, оба курят и размахивают руками – толкуют, что ли. Одного Колька знает – Жека-Телок, только-только из колонии вернулся, настоящим уркой заделался – наколку над глазом имеет: «Не вижу горя». Телок говорит, если опять его заметут, то над вторым глазом наколет: «Не вижу счастья». Телок не жаден – у Телка можно стрельнуть закур. Колька скачет вниз по лестнице и слышит себя в разговоре с пацанами, мол:

– Ты что, Буян, скис, как фраер?

– Лимона кусил.

– А лимон где взял?

– С куста снял.

– Во дает, бармалей! Айда с нами шалав клеить...

Колька уже внутренне с ними, уже в пути с кодлой Телка. Он выскочил на улицу под свет уличного фонаря – напротив стоял его дом, зияла черная пустая подворотня, а к Большому проспекту, чуть качаясь, шуршали пацаны. Он растерялся. Без компании Колька не хотел торчать у дома, а гнаться за Телком было неловко – ведь не звали же.

– Со скорой дороги будет у тебя встреча с червонной дамой, – услышал Колька голос Розы Рафаиловны и замер.

– Ты меня ждешь? – спросила гадалка.

– Нет.

– Не верю. Посмотри мне в глаза.

Он взглянул на нее, изображая равнодушие.

– Все равно ничего не видно, – сказала она. – Проводи меня, в такое время женщине одной идти неприлично и опасно. Проводишь?

Она легко взяла его под руку и повела, едва улыбаясь, щеки ее розовели не то от смущения, не то от выпивки.

Кольке неуютно – ноги тяжелы и неуклюжи, словно втиснуты в одну штанину, уши горят, как натертые, и мерещится ему, что толпы прохожих оглядываются на него, завидуя. Защищаясь от воображаемых глаз, он забыл притиснуть гадалку в лабиринте дров во дворе – очнулся у двери в квартиру, когда Роза Рафаиловна сказала:

– Зайдешь или торопишься?

Ответа она не ждала. Она отворила входную дверь и пропустила Кольку вперед.

– Моя комната налево, первая дверь – запомнишь?

– Как таблицу умножения, – брякнул Колька Буянов, а гадалка хихикнула.

Комната у нее крошечная, заставленная мебелью – только и места, что у стола да у кафельной белой печки, окно во двор – вид на дрова чуть сверху, ибо дом старый, купеческий, вместо первого этажа – бельэтаж. Колька видит, что в печке стоят дрова, и не удивляет-

ся, хотя надо бы – сентябрь – бабье лето – тепло. Фар-тук под топкой блестящий медный и чистый. Колька садится на пол и растапливает печь.

– Ты замерз? – спрашивает гадалка.

– Я люблю в огонь смотреть, – нехотя отвечает он.

– Я тоже, – откровенничает Роза Рафаиловна. – За-топлю даже летом и сажу... Подвинься чуть-чуть.

Упругое бедро Розы Рафаиловны горячо, бок ее мягкий. Колька не смотрит на нее, боится – он видел, как она сбросила на оттоманку свою шаль.

– Поставить чай? – спрашивает гадалка. – Мне твоя мама банку алычового варенья подарила...

– Зачем? – удивляется Колька.

– Что – зачем? Дарить друг другу – замечательный обычай, и получать подарки очень приятно.

– Чай – зачем? Алыча и так вкусна...

– Хорошо, давай есть без чая, – соглашается она и вскакивает на ноги. – На блюде положить?

– Лучше из банки, – говорит Колька.

Свет огня пляшет вокруг Кольки – жарко, он отползает к оттоманке. А Роза Рафаиловна уже рядом с ним с банкой варенья в руках и с маленькой серебряной ложечкой. Подол шуршащей юбки задевает Колькину щеку, а свежий травный аромат наплывает ему в легкие – Колька пьянеет от ее аромата и ужасается, он готов от ужаса кричать, бежать, прятаться, но бежать некуда и места свободного нет: над ним, как туча, стоит Роза Рафаиловна.

– Сядь! Сядь! Сядь! – шепотом кричит Колька Буянов, вскидывает руки, что-то хватает и тянет. – Сядь! Сядь! Сядь!

– Пусти, мальчишка! Пусти, хулиган! – тоже шепотом требует гадалка. – Пусти немедленно! Порвешь, где я другие штаны куплю?

Колька вдруг делается спокойным и взрослым, он видит, что гадалка трепещет, у нее даже зубы стучат, и алыча начинает течь по банке, капать на пол.

– Пусти, слышишь? Пусти, инквизитор, – зачем ты меня мучишь? Зачем тянешь? Резинку порвешь...

– Резинки жалко?

– Жалко...

Роза Рафаиловна оборачивается к столу, чтобы поставить банку с вареньем. Колька вскидывает вторую руку и мгновенно сдергивает гадалкины штанишки до колен.

– Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? – дрожа, шипит Роза Рафаиловна.

– Снимаю, – пустым голосом отвечает Колька. – Не зажимай колени – порву.

Она сдается. Он тащит ее за ногу к оттоманке. Она натывается на его ноги и падает. Свет пламени мечется по круглым ее ногам – прекрасным, беспомощным, упругим и загорелым.

– Дай, кофту сниму, – шепчет Колька и снова задыхается от ужаса и желания. – Хочу видеть тебя всю, всю-всю, всю...

– Идем на кровать, – шепчет она. – Мне тут стыдно...

Он хохочет, не разжимая рта, – он уже не Колька Буянов и не плакат Госстраха – он вихрь неудержимый, прыткий и озорной.

– Колька, хулиган, что ты меня таскаешь, как собака тряпку?!

Смех Розы Рафаиловны подобен серебряному колокольчику.

Свет со двора не освещает комнаты – свет лежит, как пленка, на мебели, на телах любовников, чтобы они не потерялись в сумраке ночи.

– Ты как гуттаперчевый пупсик, – говорит он. – Так и не бывает. Бабы же противные...

– Что ты знаешь о бабах? – лукаво спрашивает гадалка.

– Все знаю, я с мамкой до двенадцати лет вместе в баню ходил...

Снаружи по карнизу окна раздаются щелчки. Колька вздрагивает, вскакивает на колени и, прячась за портьерой, смотрит за окно. И никого не видит. Он ложится осторожно и напряженно – неведомые опасения блуждают в его воображении.

– Не обращай внимания, – в ухо Кольке шепчет Роза Рафаиловна.

– Кто это? – шепчет он в ответ и дрожит от неведомого.

– Никольская, вы дома? Можно к вам зайти? – Голос за окном просящий и безнадежный.

Роза Рафаиловна накидывает шаль на голые плечи и появляется в окне.

– Меня дома нет, – говорит она. – Зачем вы пришли, да еще ночью?

– Я на дежурстве, – отвечает ей просящий голос.

– Вот и дежурьте на здоровье, ко мне нельзя – у меня мужчина.

– Неправда...

– Ах, неправда?! – смеется она, нагибается и вздымает огромный нечищенный Колькин ботинок. – Гляньте!

Во дворе за окном тишина. Ботинок падает на пол, а Роза Рафаиловна, сбросив шаль, наклоняется к любовнику.

– Кто это был? – с подозрением спрашивает Колька.

– Участковый Муратов, – отвечает она. – Жених мой.

– Вот и сбывается, – говорит Колька, – военный король с противоположными интересами, теперь он меня точно повяжет...

– Не повяжет, не повяжет, не повяжет, – приговаривает Роза Рафаиловна, зацеловывая Колькины глаза. – Он очень порядочный человек – не боится ко мне свататься...

– Что бояться-то, – бурчит Колька.

– Меня надо бояться – я ведьма, на помеле летаю, с домовыми дружу. Видишь, мальчишку совратила, милиционера приворожила, и живу на нетрудовые доходы.

– А так можно? Не посадят? – тревожится Колька.

– Видимо, уже нет, – странно говорит она, и от странности ответа в душе у Кольки просыпается уважение к Розе Рафаиловне. Секунду он робеет, как робеют перед взрослыми подростки, и, горячо застыдившись этой робости, допрашивает:

– Ты всегда гадалкой была?

– По-моему, ты замерз, – говорит ему Роза Рафаиловна, – прижмись ко мне и укройся...

– Почему ты не ответила?

– На дурацкие вопросы трудно отвечать, Коленька, – просто говорит она. – Даже не понять, что тебя интересует: то ли как давно я умею гадать, то ли кем я была до возвращения в Ленинград...

Не понимая, о чем говорит она, Колька произносит:

– Мы с мамкой вернулись из эвакуации в сорок пятом еще...

– Вы из эвакуации, а я из Чистополя в пятидесятом – полтора года назад. Вернуться, вот, разрешили, а работать по специальности забыли разрешить, проживаю, как приживалка, гаданием...

– Покурим? – спрашивает Колька, он смущен и потревожен догадкой о былой жизни Розы Рафаиловны.

– Покурим, – соглашается она. – Что имеешь?

– Котелок и ложку, – отвечает Колька, повторяя слова Телка, у которого эта фраза на дежурстве.

– Не больно много, – говорит гадалка, – а двоим – мало. Потерпи тут, я за «беломором» сбегая.

– Куда? – удивляется Колька. – Уже поздно.



– Мне не поздно. Ты подремли пока... Я скоренько...

Она одевается мгновенно, укрывается шалью и ускользает из комнаты. Колька слышит слабый шорох двери, потом видит в окно, как Роза Рафаиловна пробегает между поленниц к арке двора. Он вяло пытается придумать, где может добыть курево эта быстрая, эта решительная, эта его женщина, да, его женщина – она для него побежала искать папирос... Он улыбается и задумывается.

У подворотни дома стоит участковый мент Муратов, рядом с ним Роза Рафаиловна Никольская, а дежурный дворник дядя Вася – кривобокий мужик лет под шестьдесят в ватнике и в валенках с галошами – накручивает стальную цепь на чугунные створки подворотни.

– Вы надо мной шутите, Никольская, – говорит Муратов.

– Нисколечко, – возражает гадалка. – Просто вы не хотите слышать правды. Одолжите мне папирос, пожалуйста, я вам завтра верну.

– Берите без возврата, – вздыхает милиционер. – Чем я хуже других? Я же на вас жениться хочу...

– Давайте договоримся, Муратов, – перебивает его Роза Рафаиловна, – мы с вами друзья, так? У друзей не бывает секретов, так? Я призналась – у меня есть любовник. А у вас? Кто у вас? Признавайтесь, я все равно на картах вызнаю.

– У меня жена в Казани...

– Я знала это! – смеется гадалка.

– Ничего вы не знали. Моя жена вышла замуж за мясника, ей пришло извещение, что я погиб. Вот и приехал в Питер – от стыда подальше...

– Не замыкай, не замыкай! – предупреждает дворника Роза Рафаиловна. – Я уже ухожу... Вот что, Муратов, вы меня любите? Честно!

– Не знаю. Я думаю о вас все время и скучаю.

– Тогда слушайте: если мой любовник меня бросит до Нового года, я выйду замуж за вас, – согласны?

– Четыре месяца, – соображает участковый, – это не долго, я подожду. Он разлюбит, вот увидите...

– До завтра! – кричит Роза Рафаиловна и машет ладошкой.

Дворник дядя Вася замыкает на воротах цепь амбарным замком.

– Баба-жох, – бормочет он. – Знаю я этих поскакушек, ей палец покажи – она руку по локоть откусит, хуже сиповки.

– Женщина, – говорит участковый Муратов, – высокое существо. Настрадалась за десятерых...

– Как же, как же, они такие – страдательные, которые по амнистии...

– А ты за что Указ имел? – лютует милиционер.

– Да я так, ты не сердчай, начальник. Ей бы, дуре, лежать под тобой да подмахивать, а то: выйду, не выйду...

Радио уже пожелало гражданам спокойной ночи. Колькина мать разбирает постель, а подруге застигает на оттоманке, где обычно спит сын.

– А вдруг да Колька придет? – говорит Нина Андреевна.

– Не придет, – твердо говорит Клавдия Ивановна.  
– Роза Рафаиловна его удержит, я ей сто рублей дала.

– Я бы ей тоже сто рублей дала, если б она мне мужика нагадала, – мечтательно говорит Нина Андреевна.

– У тебя только и делов на уме, – упрекает подруга.

– Так вся жизнь на мужике сходится.

– И на детях тоже.

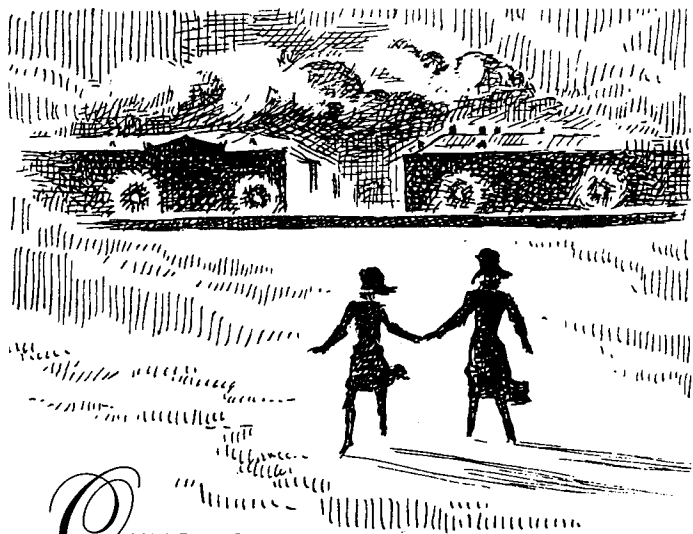
– И на детях, – соглашается Нина Андреевна. – Золотая баба эта татарочка – за такое дело взялась!

– Не взялась, а я уговорила, мол, греха нет спасти парня от улицы и самой не скучать.

– Даже завидно, – вздыхает Нина Андреевна.

– Ну, ты б постыдилась, старая кочерга, – грозит подруге Клавдия Ивановна и смеется.

И Нина Андреевна засмеялась, юркнула под одеяло и спрятала худые руки в коленках. Щелкнул выключатель – оранжевый абажур растворился в темноте, а через минуту раздались всхрапы усталых женщин.



## Однолюб

**К**огда возвращаешься домой поздним вечером с Невского проспекта на Васильевский остров, когда дойдешь до гранита Невы, – невольно останавливаешься и глядишь на медовые огни дальних окон противоположного берега, и над домами острова как бы висит медовое сияние... Путь еще долг на свою линию – еще топтать набережной чуть ли не два километра, но ты уже уверен: ты дома.

Как медовые соты, мой Васильевский, – каждый дом – сот медовый, и неудивительно, что моя жизнь повторяется в соседних сотах, неудивительно, что я по-

вторяю чьи-то слова, поступки, мысли, так как мы, василеостровцы, подобны, как медовые соты.

\* \* \*

Ян Бояринцев вздрогнул от дробного топота над головой и проснулся. Топот заглох на десять секунд и грохнул снова – теперь на целых полминуты:

– Бум-бум-бум! Бум-бумб-бу!

Яну показалось, будто шары топота скатываются с потолка бегом по линиялым обоям, чтобы встряхнуть его диван-кровать, чтобы заставить его, Яна Бояринцева, соучаствовать в утреннем безобразии, которое сосед с верхней квартиры называет утренней гимнастикой. Сосед этот – старшина-сверхсрочник Кузьменко – каждое утро шесть дней в неделю начинает бег на месте в яловых сапогах, даже коврика не стелет под ноги, – топот сапог оглушает, пробуждает, раздражает и извещает точное московское время: шесть часов тридцать минут.

Сосед-верховик «бегаёт» удивительно скоро – ровно тридцать секунд, а потом грохот его обуви рисует линию движения старшины в верхней квартире: петлей из комнаты в галлюн, где умирает как бы навсегда, и вдруг дробит в ванную и стихает, словно старшина, умывшись, делается легким, как птица, и улетает на свою сверхсрочную службу.

Иногда Яну Бояринцеву думается, что обои его комнаты заманивают грохот сверху – они старые, эти обои, протертые и выгоревшие, им скучно, а новые, мол, не ста-

нут играть с шумом – они просто поглотят шумы – новым-то нужно чем-то жить... Подумав так, Ян улыбается в темноту, он вспоминает пройдоху отделочника – начальника участка отделочных работ их ремстройтреста, который клялся, что оклейка новыми обоями прямо по бетону, без установки плит сухой штукатурки, уменьшает шумопроницаемость на двадцать пять процентов.

– Потерпим с новшествами, – шепчет в темноту Бояринцев, – вдруг да новые-то скрадуют грохот, кто меня будить станет?

Он откинул одеяло и готов был сбросить ноги на пол, да воздух ночной комнаты показался ему зябким, он свернулся в клубок и укутался. Некоторое время его знобило, даже зубы клацали, и вдруг нашла тишина – он задремал. Вскоре, однако, стукнула дверь у соседки Марии Матвеевны Кишкиной, ровесницы и незамужней вдовы, Ян про себя звал ее Кишкой, всякий раз удивляясь соответствию клички с образом и фамилией. Кроме дверного стука, Кишка шуметь не умела, поэтому тишина за хлопком двери казалась тревожной и подстерегающей. В это утро тревога вдруг подтвердилась – в глубинах центрального отопления раздались щелчки, точно чугунные радиаторы начали утреннюю переключку.

«Неужели протапливают? – с сомнением подумал он. – Прежде начала отопительного сезона? Без команды сверху? Невероятно».

Он открыл во тьме глаза и повернул голову к окну – оно было волглым, непрозрачным и слабо светилось,

подобно экрану телевизора, который только что включили. Он подумал, что соседка встает около семи утра – ей на работу к восьми, ему же в управление нужно к девяти, следовательно, еще час можно дремать. И он представил этот час дремы: себя комком под синим одеялом, сумрак в комнате, отбеливаемый рассветом, неуклюжую свою мебель, которая влезает в объем комнаты, раздирая сумрак, словно вырастает из ниоткуда, и окно, в котором волглая желтизна днем делается белой, как бельмо. Слово «бельмо» ему нарисовалось не одиноко, а целым рядом – этажом слепых окон, которые окружили его комнату, – и Ян вздрогнул, окончательно просыпаясь. Мотнув головой, он убедился, что вчерашний хмель не оставил тяжелых следов – ни головной боли, ни головокружения, только во рту было сухо, – тогда он смело выскочил из кровати, и тут же застыл с поднятой к груди рукою, ибо не сразу сообразил, с каким внешним видом должен начаться этот день труда и проживания. Ян потрогал щеки свои и решил, что бриться необязательно, – щетина едва шуршала под пальцами. Причесываться не было нужды.

Ян стал лысым в тридцать лет, когда трудился на севере. Оставалось умыться и надеть рабочий костюм – и эта нехитрая операция затормозила его: умываться лень, а рабочий костюм в шкафу – за ним нужно тащиться через комнату, а новый... Вчера его новый костюм похвалили... даже Кишка улыбнулась.

– Ты в этом костюме, как жених, – сказала она.

– Почти, – ответил он, – уже двадцать пять лет жениховства...

Кишка ничего не поняла и ничего не спросила, а улыбаться перестала.

Ян на нее обиделся – первый раз за долгое соседство ему хотелось похвастать, что влюблен, что влюблен взаимно, что любовь в нем не отошала за двадцать пять лет, что не костюм его выглядит жениховски, а он сам, потому что эти долгие двадцать пять как не были, как один день пролетели... А утром, стоя полуголым над выходным костюмом, он подумал, что не выболтал Кишке своей тайны, что у него есть шанс удивить соседку, признавшись, что он, Ян Бояринцев, решил покончить с холостой жизнью.

В костюм он влез автоматически, размышляя о превратностях своих желаний и планов, – о шаткости этих планов, о глупости надежд и о непонятном времени жизни, которое то тянется годами в минуту, то мелькает секундами, пролистывая года.

Было Яну Ивановичу Бояринцеву почти сорок лет – в ноябре будет сорок, подумал он, – а любви его было больше жизни. Приблизительно вчера исполнилось двадцать пять лет с мгновения его отчаянной влюбленности в девчонку, в блудницу, в мечту и осязаемую доступность, нужную, как душа живому телу. Он подошел к окну и положил ладони на ребра радиатора – ребра были теплы, как память о вчерашнем дне, и как только он сравнил тепло батареи отопления с теплом памяти, так сразу ощутил некую



фальшь, словно в памяти тепла проползли острые сквозняки. И окно слепо, словно обращено во вчерашний день, даже неба не видно, как вчера в парке... Ян втиснул ноги в туфли, поправил галстук и опять оглянулся на окно. Прямоугольник окна светился матово и покладисто – ни от луны, ни от электролампы такого света не бывает. Он решил разгадать, отчего так тягуче и тепло светит окно. Сперва же он пошел на кухню, макнул палец в солонку и мелкой солью протер зубы. Кухонное окно тоже было волгло, но от электросвета в кухне оно казалось черным зеркалом, в котором Ян был не самим собою, а своим подобием, омоложенным, утонченным в размерах и наклонным к полу под углом, словно перпендикулярность его покинула.

Ян вернулся в свою комнату быстрым шагом, посмотрел на окно с порога и признался себе, что не понимает медового света. Он распахнул форточку и беззвучно рассмеялся: там, за пределами стен жилья, в широкой дыре двора-колодца падали и взвивались медленные толстые снежинки, словно им было без разницы – падать или взлетать.

– Эх, вчера бы снег, – вздохнул Ян, ему вспомнилась вчерашняя ночь – чернота земли, чернота кустов и деревьев, чернота стен, на которых даже освещенные окна не казались светлыми, – вчера в окне силуэт Галки-вороны был частью черноты и частью обиды, она стояла спиной к окну, чтобы он видел спину, чтобы понял, что она обиделась. Он, безусловно, понял выражение силуэта и пожал плечами, занося ногу на подножку автобуса, который спешил к вокзалу города Пушкина. Ян вчера

подумал, что Галка права, желая женить его на себе, ведь, правда, пора остепениться и пора соединить в семью двадцать пять лет страданий и восторгов, жгучей ревности и томительного ожидания, наглости потребителя, которого обязаны улаживать, и сиротской нежности холостяка, которому обрыдло холостячество. Как бы параллельно с трезвой докукой обывателя, вчера в его голове пролетели мысли о том, что женатого уже не станут подглядывать у окна, не станут ждать его прихода, как праздника, не станут провожать поцелуем и обещать позвонить на работу... И потом жениться на Галке после того, как она сбежала.

Вчера был вечер сюрпризов, сюрпризы же многообразны, и качества их имеют то положительную, то отрицательную окраску. Первым сюрпризом Яну был праздничный стол, приготовленный Галиной с изысканностью и лукавством: она где-то выкопала старую бутылку с этикеткой «Ленинградская» – точно такую же бутылку водки они выпили втроем двадцать пять лет назад в день знакомства и клятвы. Ян не догадывался, что Галина помнит первый день их встречи, что хранит память этого дня, как веху, как границу раздела жизни на «до» и «после» знакомства, он никогда не думал, что она, его любовь, что-то помнит или понимает, он включал ее в себя и удивлялся, ежели Галина что-то говорила не так, как он это видел. Еще сюрпризом была хорошо сохранившаяся пачка папирос «Бокс», тонких, горьких и набитых так плотно, что раскурить папиросу было невозмож-

но, ежели не размять табак, однако разминать надо было умеючи – папиросная бумага лопалась, обнажая темные колючки (то ли из табачных отходов, то ли сорной травы, примешиваемой к табаку). У Яна папиросы ломались в пальцах, поэтому он ссыпал табак ломаных папиросок на кусок газетки и сворачивал козью ножку, – пальцы у него были желтыми от жара и никотина, так как докуривал он самокрутку до ущербного остатка, который даже окурком не назовешь. В день их первой встречи Галка размяла папиросу для Митьки Каменского и, заметив зависть во взгляде Яна, спросила:

– Тебе тоже раскатать, да?

– Делай, – кратко приказал Камень. – Что базарить?

– Я не базарю... – начала оправдываться Галка, и ладонь Митьки хлопнула ей по губам...

...Ян сел к столу, налил «Ленинградской» и выпил.

– Разомнешь? – спросил он Галку вчера.

– Разве память мнут? Кури «Столичные»...

– О, как многозначительно, как мудро, – проговорил он и осекся, заметив, что Галка готова зареветь.

– Извини, я пошутил...

– Я догадалась, – сказала она. – Тебе нельзя шутить, в комнате душно делается.

– Пойдем в парк, – предложил он, надеясь, что она скажет, мол, обед остынет.

– Идем, – решительно сказала Галка.

Они ушли в Александровский парк – влево от Орловских ворот, – в ту часть, где пусто, где нормальные

люди не гуляют, так как нормальным людям в парке хочется присесть на скамейку или потолкаться у аттракционов или, на худой конец, купить мороженое, а в Александровском парке единственным парковым зрелищем был разрушенный кирпичный замок, окруженный зарослью крушины. Возле этих развалин Галина остановилась и потупилась, затем, вскинув подбородок и глядя Яну сразу в оба глаза, сказала, как выстрелила:

– Ян!

– Что?

– Нам надо поговорить...

– Говори.

– Ян... – голос ее дрогнул. – Я уже не девочка...

– Я помню это с первой встречи. И даже раньше.

Митька был удивительно откровенным товарищем...

– Тепло, – сухо сказала она.

– Да, еще тепло. И ты тепла, я лечу к твоему теплу, как мотылек, а ты меня хочешь истопником сделать. Угадал?

– Фу, как противно звучит, а похоже на правду.

– Что именно похоже?

– Что ты мотылек, даже хуже – насекомое...

– Спасибо, любовь моя, – сказал Ян и поцеловал ее губы. – Не продолжай зоологических эмоций.

Она замолкла до вечера, его это не смутило – он любил молчать рядом с нею, а Галина немножечко свирепела, и ее черные глаза метали голубые искры...

Ян Бояринцев стоял у отворенной форточки и принюхивался к снегу за окном, ему казалось, что он слы-

шит запах цветов. Машинально он «причесал» себя пятернею и задел ухо – он уловил знакомое ощущение и вспомнил, что вчера Галка мазнула ему за ухом «Серебристым ландышем».

– Зачем это? – спросил он вчера.

– Будешь меченый. Если чужая понюхает... как колючая проволока.

– Чудачка, – сказал он.

– Нисколечко. Я очень практичная женщина и себе на уме, у тебя нет времени заметить это.

– Если прикажете, мадемуазель.

– Мадемуазель уже превратилась в немолодую девушку. Еще пару лет, и тебе придется жениться на старухе...

– Старость – это пакость, – сказал Ян в форточку.

Как бы в ответ со двора снизу раздался лязг, квок, скрип и услышался запах квашеной капусты и подгорелых котлет: остатки вчерашнего хмеля возмутились в нем, напоминая, что настал реальный день труда и забот, что нужно думать о пропитании, об уборке в комнате и в квартире, о прачечной, о мебели, которую пора сменить, ибо отслужила свое, потому что новый диван-кровать выглядит в комнате как никелированная ложка на ржавом железе. Ян подумал, что он сам себя торопит с женитьбой, хотя Галке наговорил гадостей, он подумал, что мечта о новых обоях и о новой мебели есть показатель озабоченности единицы о множестве, сплюнул в коридоре на пол, подхватил плащ с вешалки и вынесся наружу в серое утро.

Улица удивила и обрадовала Яна – панель и мостовая были влажны, снег едва касался их и таял, а на карнизах высились сугробики, подчеркивая серость стен белыми тире. Снежинки на улице были мельче, чем во дворе, и летали проворней, а скрипучие шляпы фонарей над улицей качали конусы желтого света в каком-то ритме: раз-два-три, раз-два; раз-два-три, раз-два. Ему показалось, что конусы света танцуют, примериваясь к его шагам, и Ян улыбнулся. Он направился к кондитерской, думая, что черный кофе облагородит желудок, погасив кислые вспышки памяти о прошлом, а эта кондитерская оказалась закрытой на ремонт. Бояринцев закурил и задумался над тем, куда пойти за завтраком. На углу Семнадцатой линии и Малого проспекта была рабочая столовая, которая открывалась с семи утра, – в столовую было не по пути, то есть против пути – в обратную сторону от станции метро, поэтому Бояринцев пошел к Среднему, надеясь углядеть общепит по дороге. Снег усилился. Под ногами уже сбивалось месиво талого снега. На Среднем было не по-раннему людно – прохожие в транспорт не прятались, наслаждаясь зрелищем первого снегопада, и это понравилось Яну – он тоже не залез в трамвай, двинулся за двумя снежными спинами, стремясь по кромке тротуара, – не хотел, чтобы туфли намокли, ступал по поребрику и глядел под ноги, радуясь, что его не качает, что он способен сохранять равновесие в трудных погодных условиях. Он так и подумал – в трудных погодных условиях, удивился, что мысли могут проявляться канце-

лярским шаблоном, как бы без участия личности, и вдруг засуетился в душе от привычной заботы: три объекта, на которых заканчивался капремонт, только-только начали фасадные работы, если ударят морозы, план сдачи объектов в октябре скоропостижно помрет. Бояринцев решил, что после завтрака объедет ремонтные и строительные площадки, выспросит прорабов и попытается усилить бригады фасадчиков – на всякий случай, так как мороза может не быть, зато возможна сверхплановая сдача объектов. Ян Иванович Бояринцев, заместитель управляющего стройтреста, сверхплановые сдачи любил, эти сверхплановые сулили премию, премия сулила удобство и роскошь, а удобство и роскошь награждают личность сознанием заслуженного почета. Личность Бояринцева как бы отключилась от внешнего мира, личность его уже не замечала снегопада, витая в облаках воображаемых случайностей, – в результате он не заметил, как встроился в поток пешеходов, оставив балансирование на поребрике, не заметил, что туфли намокли, а на плечах плаща и на шляпе скопился влажный снег. Только у станции метро он догадался, что выглядит снежным чучелом, как соседди-прохожие, и перед входом на станцию стряхнулся, как пес, разбрызгивая ошметья снега. Дамочка по соседству тоже тряхнула плечиками, словно собиралась в пляс, Ян ей улыбнулся, но не получил ответной улыбки. «Галка бы улыбнулась, – подумал он с обидой, – а эта, видите ли...» Ян Иванович недодумал, отвлекшись спешкой, – он стал частичкой городской толпы, затолкался в вагон и встал

так, чтобы на «Маяковской» выскочить из вагона первым и перебежать на Кировскую ветку подземки. Выходил он на поверхность на Балтийском вокзале опять личностью — личностью, известной некоторым лицам вокзального ресторана, ибо Ян Бояринцев был председателем приемной комиссии, когда отремонтировали помещение ресторана, причем плохо отремонтировали, зато храбро подписали акт о недоделках и пригласили Бояринцева отметить завершение ремонта. Ян Иванович удивил тогда ведомственных строителей и директора ресторана — отказался от обеда в «закрытом» зале, но взял бутылку коньяку и сказал:

— Чтoб вы не думали, что я неподкупен. Идите пьянствовать без меня, зайду проверить через пару дней.

— В любое время, Ян Иванович, в любое время! — почти влюбленно пропел директор ресторана.

Бояринцев пришел проверять через неделю, было восемь утра, директор ресторана уже был на трудовом посту — встретил гостя с раскрытыми объятьями и даже позавтракал вместе с Яном. С той поры Бояринцев навещал вокзальный ресторан, когда телесная немочь требовала похмелки, так как ему ставили бесплатно маленький графинчик коньяку и фужер сухого вина.

Ян Бояринцев завтракал неторопливо, жевал и планировал, как он дойдет до объекта на улице Розенштейна, поговорит с прорабом участка, возьмет полуторку и уже на транспорте посетит другие объекты, а к обеду или даже раньше явится в управление треста.



Он уже не был празднующим горожанином, не был влюбленным или ревнивым – он стал деятельным, деловым, трудовым, словно в его сознание включили программу строительных правил и расчетов. «Надо позвонить татарочке, – подумал он, – сказать, что поеду по кругу, кому надо, найдет...»

– Аля, – сказал он в телефонную трубку, – я жив, поеду...

– Минуточку, Ян Иванович, соединяю с начальником, что-то срочное...

– Что именно? – удивленно спросил Ян Бояринцев.

– Я не знаю. Алексей Васильевич приказал вас разыскать... Спасибо, что позвонили.

– Бояринцев? – басом раскатился шеф. – Что у тебя в Пушкине стряслось?

– В каком Пушкине? – не понял Ян.

– Слушай сюда, – оборвал шеф. – Звонила соседка Галины Ивановны, сказала, что Галина тяжело заболела...

– Ерунда какая-то, я вчера там был...

– Был, не был – твое дело. Мне такие сигналы не нужны. Поезжай в Пушкин, улаживай, потом расскажешь, понял меня?

Ян сглотнул слюну – холодным комком глоток скатился в живот, трубка в руке пиццала короткими гудками – шеф отсоединился. Ян опять стал человеком испуга и озабоченности, влюбленности и тревоги. Ноги у него отчего-то обмякли, словно чувствовали несчастье. Он уловил, что дышит коротко и судорожно, по-

весил телефонную трубку, потом медленно вдохнул и медленно выдохнул воздух, чтобы уравновесить вспышки предчувствий. Ян потрогал свою левую руку и как бы восстановил прежнюю боль: двадцать два года назад, когда Галка исчезла, он уродовал руку финским ножом, вырезая буквы ревности и ненависти «галка сука». Шрамы сохранились, хотя прочесть было трудно – со временем синюшная кожа порезов стала белыми штрихами, едва различимыми под густой шерстью, наросшей после юности.

– А ведь она может, – прошептал он, безумея от ужаса, ему представилось тело Галки, распластанное на пододояльнике, черная кровь и холод, как от сугроба снега.

«Галка, что ты наделала?!» – стучала тонкая жилка на его виске.

Под землю он бежал, толкая горожан на эскалаторе. На Витебском вокзале он растерялся, не зная, что правильной: идти на электричку или взять такси. Но побежал на платформу и, к счастью, сразу попал в отправляющийся поезд. Ян сел в уголке у двери спиной к салону и уставился незрячими глазами в окно. Ритм колес несколько рассеял напряжение в нем. Промелькнули привычные придорожные строения, отбежали рельсовые пути, за окном виднелась бесконечная канава – чертою, и пустыри. Ян вдруг увидел, что утро набрало силу, что пустыри покрыты снегом, что вдали между коробочек новостроек слоится туман, а со стороны далекого мясокомбината летит черная стая ворон.

«Утро туманное, небо седое. Галка-ворона, что ты наделала?!»

Непрерывный день жизни вдруг распался картинками памяти разных дней в различных годах, – картинки монтировались в поток событий произвольно, перечисляя самую биографию. И хронология в памяти была нарушена, что раздражало Яна, ибо он был человеком последовательным.

– Это не так, – шептал он себе, – это начал Митька Каменский, когда заблатовал, и меня приобщил...

...Митька Каменский был школьным другом Яна, – в сорок пятом они встретились в канцелярии школы, куда пришли записываться на обучение, пришли без родителей, их и записали в пятый «б» класс, вероятно, потому, что оба они ответили на вопрос канцелярской дамы одинаково:

– А родители где?

– Родители вкалывают, они уже школу закончили.

Митька Каменский был сыном профессора, а Ян Бояринцев был сиротой и не хотел, чтоб о нем говорили, мол, несчастный, сирота, при живом отце вел бы себя лучше... Ян повторил за Каменским фразу о родителях. В классе они заняли заднюю парту и на уроках играли в «морской бой». А в 1947-м профессора Каменского вдруг арестовали, и Митька осиротел. Школьные придурки стали дразнить Камня врагом народа, Митька возмутился – стал лезть в драку, даже пырнул одного подонка ножом... Митьку стали побаи-

ваться, о нем шушукались, сплетничали... Митька Каменский стал мотать уроки, а Ян Бояринцев не отставал от него. Потом Митька школу бросил совсем, а у Яна не хватило смелости на такой шаг – ему было жаль матери, которая слишком серьезно воспринимала замечания и плохие отметки в дневнике сына. После школы Ян забегал домой, чтобы прихватить какой-нибудь еды для Камня, потом они шатались по улицам, грелись в парадниках или в кинотеатре «Форум», а то и в каком-нибудь музее, до которого не лень было идти. К весне сорок восьмого Камень стал бездомным, как беспризорник, его мамаша выскочила замуж за капитана милиции, и Митька ушел из дому.

...В развалинах дома на Девятой линии они играли в карты под просто так: проиграл – и рубашку снял, еще проиграл – снимай штаны, носки, исподники... Митька учил Яна буре – хорошо учил, а сам играл плоховато, и злился.

– Давай, Боярин, тасуй лучше, – сказал Камень, стаскивая ботинок с левой ноги, правая уже была налегке.

– Тасую, как могу, что прешь-то? – отбился Ян.

– Пруха тебе, а мне обидно: фраеру прет.

– Какой я тебе фраер... – надулся Ян.

– Ну, я так – для понту, слышь, Боярин? Ты как я, да?

– Считай, что так.

– Тогда давай на мою шкуру сыграем.

– На шкуру не буду, и на деньги с тобой не играю, – уперся Ян.

Митька Камень посмотрел на Яна долго-долго, бросил колоду карт на кирпичи и ногой отпихнул.

– Слышь, Боярин, никого у меня нет... ты да шкура моя. Вору нельзя без друга и без шкуры... Давай на ней побратаемся, как римляне, на всю жизнь.

Они побратались в день Победы в дровяном сарае, они выпили по стакану водки, а после втроем пошли смотреть салют на Неву. До сентября они ходили втроем, но после римского братства Ян Галки не касался. Осенью Камня повязали с поличным, до дня суда Митька сидел в «Крестах». Ян ходил с Галкой, сберегая ее для Камня. И не сберег... Когда выпал снег и стала Нева, Галка запросилась на каток, – Яну это понравилось. Они пришли на стадион «Динамо», и Галка сбежала в раздевалку, а Ян вынул из кармана полупальто свои канадки и переобулся прямо на снегу. Он встал у края катка, его широкие клещи скрыли коньки... Галка пронеслась мимо не оглянувшись, – она была легка и стройна: черные рейтузы и черный свитер делали ее тростинкой в толпе неуклюжих фигур, а красный берет и красный шарфик, мелькая, дразнили Яна. От небывалой прежде прелести, или от ревности, или от смещения прелести и ревности Ян забегал по катку, разогреваясь, и влетел в круг в центре катка, растолкав пацанов.

– Как ты, сука, смеешь крутиться с ними? – почти простонал он. – Отвали от них!

– Ты же со мной не катаешься, мне одной скучно, – весело ответила Галка.

Тогда он погнался за ней с ножичком в кулаке – догнал и стал бить в ягодицы. Один круг она стерпела, и вдруг, не выдержав отчужденности, повернула к Яну свое цыганское лицо с горящими щеками и с глазами, метавшими голубые искры:

– Что ты хочешь, Янка? Мне же больно... Хочешь, уйдем отсюда?..

– Жду у раздевалки, – ответил он.

Они ушли к Неве и по заснеженному льду отправились на Васильевский остров. Было темно и тихо. Слабо светился снег. Далекий город отторгнул их от своих забот, а ночной простор расстился, куда-то маня. Галка шла впереди Яна, она была похожа на шишку рогоза из-за темной цигейковой шубки, венчающей тростинки ног. Она не оглядывалась, а он пламенел и содрогался и не знал, на что решиться. Вдруг его нога попала в рыхлый снег – он качнулся и, падая, толкнул Галку в спину. Она засмеялась, не обернувшись. Он обиделся и нахулиганил – схватился за ее рейтузы и сдернул до колен. Она упала в снег лицом, как спутанная, а он увидел кровавые ранки на ее теле, вспыхнул жалостью и нежностью и стал целовать порезы, всхлипывая, как ребенок. Галка тихонько хохотала, выворачиваясь, но не отбиваясь... Потом она расстелила свою шубку...

Так вспыхнула их любовь и горела три года. Сколько скамеек помнили их тела! Сколько газонов! Сколько парадняков и темных дворов! Уличная их любовь не боялась ни морозов, ни слякоти, ни жары. Жестяные

канотье василеостровских фонарей приветливо качались для них, скрипя и окатывая влюбленных медовым светом. Ян раскланивался с фонарями. Галка расточала им смешинки и махала ладошкой. Однажды ночь привела их к аптеке, и вдруг скрипнул фонарный колпак – Галка вздрогнула и не улыбнулась.

– Что с тобой? – удивился Ян.

В ответ она полушепотом прочла:

– *Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.*

– Это ты придумала? – спросил он.

– Это придумал Блок, – ответила она. – Я тебе завтра принесу его книжку.

Александр Блок был первым поэтом, которого Ян прочел вне школьной программы. Потом Галка открыла ему Есенина... Ян был благодарен ей и ночным фонарям Васильевского острова за то, что они доверили ему поэзию. Под мягким и тягучим светом фонарей Галка учила его целоваться, учила держать ее под руку и запрещала говорить ей уличные слова. В склепе на Лютеранском кладбище она учила Яна танцевать танго и фокстрот под глухой вой радиолы из общежития, что ютилось напротив кладбищенской ограды между пустырей. Далеко за полночь Ян провожал ее домой и оставался на пустой улице, изнывая от одиночества.

Дежурные дворники косились на него из подворотен, кошки замирали, глядя на Яна огненными глазами.

Они старались встречаться каждый вечер, и каждый вечер Ян говорил ей:

– Здравствуй, любовь моя.

– Здравствуй, мой люб, — каждый раз отвечала Галка и прелестно смеялась, сверкая цыганскими очами.

Ее унесло неожиданно... То есть Ян не предвидел потери: его любовь была его собственностью, она не имела права слушаться или протестовать – она была емкостью клятвы и должна была оставаться податливой.

Однажды на танцах в Мраморном зале Дворца культуры имени Кирова Галка танцевала с выпускником высшего мореходного училища, а Ян курил, стоя на лестнице за стеклянной дверью против оркестра, и выглядывал свою любовь среди танцующих. Он видел, что Галка улыбалась мореходу и что-то говорила, улыбаясь.

– Ты его знаешь? – спросил он Галку. – Кто это?

– Это мой жених, – ответила она. – Родители хотят, чтобы я вышла за него замуж...

– А я не хочу, – яростно сказал Ян.

– Ты и жениться не хочешь, – упрекнула Галка.

– И жениться не хочу. Зачем? Мы же клялись...

– Это вы клялись, я – молчала, – возразила она.

После танцев к ним подошел жених-мореход.

– Сегодня я провожаю Галину, ладушки? – сказал он.

– Перебьешься, – сказал Ян.

– Может, поговорим? – предложил жених. – В садике. Ты не против?

– Не смей, Володя! – потребовала Галка.

– Это тебя не касается, – оборвал ее Ян.



...После того вечера Галка исчезла на десять лет. Любовь к ней не оставила Яна, не испарилась, не иссякла – любовь его превратилась в некий вид упорства и занятости. Он работал бетонщиком и учился в Строительном институте, затем был направлен на должность прораба за полярный круг, где строил испытательные площадки для милитаристов. В Ленинград Ян Бояринцев вернулся полысевшим и умудренным специалистом, – душа его была как бы в анабиозном состоянии. Матери он не нашел – померла, и никто не потрудился известить его о смерти матери, и комната оказалась занята чужими людьми. Он устроился на работу начальником участка в Ремстройуправление и поселился в общежитии. Ему предложили отдельную служебную квартиру – Ян отказался, но попросил начальника ходатайствовать перед райисполкомом Василеостровского района о возврате ему материнской комнаты. Бояринцеву отказали.

– Что ты хочешь? Хочешь, чтоб одних выселили, а тебя вселили? Это прихоть, и только. Тянет тебя жить на Васильевском? Хорошо, мы пойдем навстречу, – сказал Яну первый заместитель председателя райсовета. – Тебе подберут комнату в малонаселенной квартире в доме после капремонта, договорились? Женишься, квартиру дадим.

Полудовольным и полубрезгливым взглядом он окинул комнату: большая – двадцать квадратов на одного, потолки высокие, солнце видно весь день, хоть окно во двор-колодец... Избывая брезгливость, Ян купил мебель-

ные развалины в комиссионке. От пожилой мебелишки комната преобразилась, но уютней не стала. Через пару лет обои выцвели и облупились – Ян не стал делать косметического ремонта. Соседка по квартире была еще молода и очень серьезна, она с Яном не заигрывала, так как в ту пору был у ней полюбовник – большой и тихий мужик, работавший мясником. В кухне и в коридоре целыми днями стоял плотный аромат тушеного, вареного и жареного мяса. Ян улыбался запаху, думая, что это нормально, когда в комнате строителя пахнет известью, а у мясника – мясом. Он засыпал, нанюхавшись, и просыпался голодным, однако не выходил кашеварить на кухню – лежал и ждал, если было раннее утро, когда заговорит радио, когда придет пора открытию пышечных, котлетных, кофейных или столовых.

...Потом в Гавани – на площади у Дворца культуры имени Кирова была архитектурная выставка из США. Начальник треста приказал Бояринцеву побывать на выставке и приготовить информационную справку о материалах и технологии американских строителей.

– Ты там живешь по соседству, – сказал шеф. – Считай себя командированным на весь день... и мне проспектов с картинками возьми...

Ян долго обходил стенды, удивлялся, что американцы кладут бетон так чисто: ни трещинок, ни пустот, ни щербин на поверхности нет. Удивлялся и тому, что зданий из кирпича нет, если не считать частные дома, словно кирпич уже не материал для городского строительства. По пути

он набрал большую сумку проспектов, реклам, шариковых карандашей и каталогов, прихватил с десяток пластиковых мешочков с эмблемой выставки, утомился и проголодался, и решил перекурить в саду «Василеостровец», купить пирожков у лоточницы и быть готовым навестить древо жизни, так он прозвал толстенную иву, росшую на маленьком бугорке в саду. Он очнулся прохладным утром на корнях этой ивы после «разговора» с тремя курсантами мореходки, на лице его запекшейся коркой налип батистовый платок с буквой «Г», вышитой на уголке. Ян хранил этот платок в книге, как хранят фотографии в альбомах. «Почему мореходы не убили меня?» – сотни раз за десять лет задавал он себе пустой вопрос. Мореходы не знали, убили они его или нет – их это не интересовало, они разрядили свою силу и удаль и ушли трезветь под кров высшего училища. Хотел ли Ян Бояринцев умереть или так выражал горечь утраты Галки, сказать трудно, но в нем умерла та часть жизни, которой так увлекается молодость. В свои «за тридцать» лет он не чувствовал себя ни молодым, ни старым, – он был никаким.

В тот день Ян обошел вокруг ствола ивы, вспоминая себя, и не обнаружил в душе обиды на курсантов. Он уже собрался пойти к лягушатнику – к квадратному пруду, в котором он умывался в то давнее утро, чтобы не пугать прохожих струпьями запекшейся крови, – он закурил и шагнул, и вдруг его настиг полукрик и полусшепот:

– Янка, Янка, не спеши!..

Он вздрогнул, оглянулся и встретил сияющий цыганский взор Галки-вороны.

– Здравствуй, люб мой, – не улыбнувшись, сказала Галка. – Я знала, что рано или поздно ты придешь сюда.

– Неужели ты караулила меня здесь? – издеваясь, спросил он.

– Здесь я грустила, – ответила она, – я еще пыталась застать тебя дома. Разве твоя жена тебе не передавала?

– Жена? – переспросил Ян, догадываясь, что Галка говорит о Кишке.

– Она имеет на тебя виды? – допрашивала Галка.

– Спроси ее...

– Имеет, имеет, иначе бы мясо не жарила.

– Она мяснику жарит, – сказал Ян.

– Ты мне не рад?

– Не знаю, что сказать. Не успел еще оценить явление тебя народу.

– Если ты будешь злиться, я опять пропаду...

– У меня уже нет такого места, которым злятся.

– Неужели ты не понимаешь, что я вернулась? Я не могу без тебя, понимаешь? Не могу. У меня тоже нет такого места, которым терпят.

– Десять лет оно было.

– Ты меня не прощаешь? – удивленно спросила Галка.

– Не говори чепухи, противно, – сказал Ян. – Со мной не нужно кокетничать.

– А поцеловать тебя можно?

Ощущения вины у Галки не было, словно «не могу без тебя» освобождало ее от предательства. Ян глядел ей в глаза и не чувствовал десяти лет разлуки, она даже внешне не изменилась – та же цыганская веселость глаз, тот же румянец на щеках, черные кудри не изменили прически, только в ушах появились золотые сережки.

– Ты как цыганка, – сказал ей Ян.

– И на шее монисто, – раскатилась прелестным смехом Галка.

Потом он отправился провожать ее домой – оказалось, что Галка после развода с мужем проживала в Пушкине у Орловских ворот. Яну понравилось, что она как бы не горожанка, что место ее жизни почти в дачах, что каждый день туда мотаться не будешь.

Ян Бояринцев опоздал на службу на следующий день.

– Что-нибудь случилось? – спросил начальник треста.

– Просто проспал на первую электричку, – ответил прораб.

– В следующий раз звони по телефону, – сказал шеф. – Невеста? Ну-ну, не тушуйся, все были молодыми.

Пятью годами позже шеф произвел Яна в заместители, новую должность пропивали в ресторане «Европа» на антресолях. Ян пригласил Галину, чтоб не кукурила, – она не любила, когда ее выходные выкрадывали какие-то банкеты или собрания. Пьяненький шеф был очарован Галкой, кричал ей через стол комплименты, рвался поцеловать руку. Потом пальцем помянул Яна, усадил рядом и разоткровенничался:

– Правильно делал, что скрывал от меня невесту свою, Ян Иванович, клянусь совестью. Я бы свою телегу бросил да за колясочкой побежал бы...

Жена шефа услышала и пропела:

– Алеша, Алеша, не смущай молодежь, разве не видишь, они еще не умеют быть вместе.

Шеф отмахнулся, выпил фужер коньяку и стал ворчать слова, далекие от бюрократических определений.

– Уважаю тебя, Бояринцев. Если такая баба липнет, уважаю. Не обижаешься? Мне, знаешь ли, в управлении шепчут, что ты – карьерист, что не на работу прешь, а пыль в глаза пускаешь... А я понимаю... Для такой бабы вламывать и вламывать... Сколько ей лет?

– Мы погодки, – ответил Ян.

– Быть не может! Я думал, что студентка...

Он стал передавать приветы Галине, словно бы она была ему подругой, а Яну – женою. Шеф дважды предлагал написать заявление об улучшении жилищных условий, подсказывал, что комнаты Яна и Галины учтутся, что возможно выколотить трехкомнатную квартиру.

...Вороны начали круг для посадки, как черная эскадрилья. На снегу от ворон тени не было. «Какая квартира, шеф? – думал Бояринцев. – Она ушла. Ах, Галка-Галка, что ты наделала? Как же теперь быть? Мне-то как, а?..»

Ему было тесно в собственной коже, ему было жарко от своих мыслей, и судорожные всплески предчувствия ранили сердце. «Не хватало, чтоб меня дернул инфаркт в электричке», – с жутью подумал он. Но до Пушкина ничего не слу-

чилось. Горячий комок внутри остыл – уплотнился, тяжестью накалился, и от тяжести пришла твердая уверенность, что жить ему незачем – не с кем и не для чего. Он стал раздумывать, когда лучше всего расстаться с жизнью: прямо сейчас в ее комнате, чтоб их похоронили вместе, или сперва ее похоронить, а потом порешить себя.

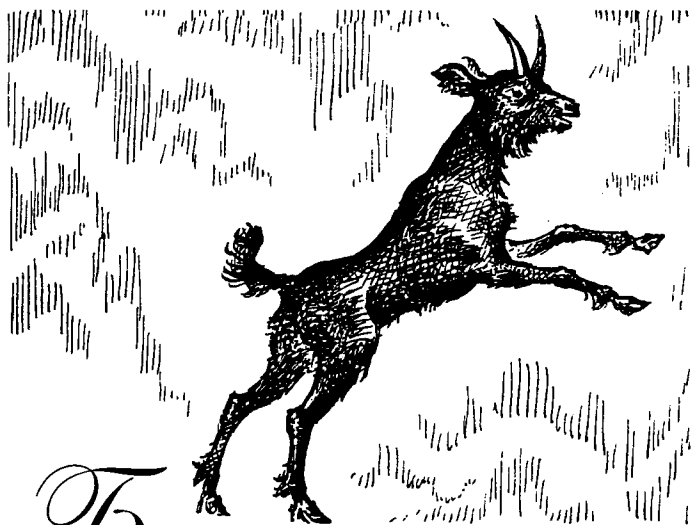
У вокзала ни такси, ни автобуса не было. Взволнованный мыслями о смерти, Ян Бояринцев побежал пешком. Через двадцать минут он добежал до ее дома, запыхавшийся и опустошенный. Каждый шаг гудел в груди Яна, помогая раскатывать мысль о конце: «Самое лучшее, лягу рядом, обхватю ее цыганскую голову и подохну». Он тянул свою руку к звонку, как на дыбу, заранее пугаясь лица соседки, но открыла дверь Галка, она была в легком халатике, в волосах – забавные папилютки, а цыганские глаза ворожили веселье.

– Я знала, что Алексей Васильевич тебя отпустит, – он же нас любит, правда же?!

Комок смерти взорвался в душе Яна Бояринцева неожиданной злостью:

– Да как ты смела, сука поганая! – заорал он. – Кто тебе дал право?!

Он убежал в Александровский парк – в чистоту снега и холода, чтобы остыть от злости, чтобы остыть и вернуться, и не разлучаться никогда, разве для работы... потому что жизнь у человека одна и любовь одна, и смерть завершает их, потому что смерть неизбежна, но человек вечен, пока жив.



## БЕЛАЯ И ЧЕРНАЯ КОЗА

**Д**олгое жаркое и мучительное лето – без дождей и почти без ветров – носило меня по городу, подобно облаку пыли или бумажному сору, забрасывало в электрички, чтобы спрятать в лесу, гнало из тени в тень – от дерева к дереву, от дома к дому – под навес, к сквозняку, лишь бы спрятать от палящих лучей солнца! – но и тень была жаркой, как раскаленный асфальт дорог, как серый бетон домов, как металлические поручни в транспорте. Вместе с жарою преследовало меня одиночество – в жару одиночество неодолимо.



Каждый белый день я ждал благословенной ночной прохлады, но и ночь не давала отдохновения – ночь мучила жаркой бессонницей, а короткие сумерки, когда земля под ногами и стены домов делались всего лишь теплыми, сменялись жарким утром. И тогда я решился на страшную пытку... Выбор-то был невелик... Я решил ринуться на пляж в самый беспощадный зной – в разгар полдня, чтобы погибнуть от солнечного удара или хотя бы научиться переносить жару.

А солнце меня пощадило, или моя внешняя конструкция была надежней, чем казалась изнутри. Переносить жару я не смог, зато смог терпеть жару в те малые промежутки времени, пока испарялась вода с моего горячего тела. Иногда мне казалось, что вода шипит на моей спине, как на раскаленной сковородке. Однако кожа моя была бледна – кожа моя сопротивлялась огню солнечных лучей очень самостоятельно, словно я тут был ни при чем, – моя кожа просто не принимала солнечные лучи во внимание и, может быть, это меня спасло... И все же каждый выход из воды на песок пляжа начинался с горячего вдоха, от которого красная муть немедленно застилала глаза, – я падал на мятые брюки и на раскаленную рубашку, закрывал голову ладонями и старался вдыхать воздух в тени под грудью, но через две-три минуты, ошпаренный солнечными лучами, вновь бежал к воде и нырял, сожалея об утраченных в ранней поре существования жабрах.

И каждый раз, лежа, когда у меня хватало сил поднять голову, я с удивлением видел смуглые тела юно-

шей и девушек, хохочущих и пляшущих под белыми дугами траекторий кожаного мяча так стремительно и неутомимо, словно эта беспорядочная игра дарила им тепло для жизни. Я не замечал прелести девушек и не умилился мощи и стройности парней – они жили как бы вдали, за прозрачной стеною, как бы в ином измерении пространства, – только жара, только одиночество были со мною, были во мне и заманивали меня в воду. Даже с закрытыми глазами мне виделся белесый путь кожаного мяча в белом воздухе, и сам мяч, крутящийся, как древняя бомба, и взрывы ударов красных ладоней о мяч, и фонтанчики песка из-под красных ступней.

Я дышал тeneвым воздухом под грудью и терпел, когда раздался необычайно тонкий щемящий скрип песчинок где-то совсем рядом с моей головой. Этот скрип звучал в ритме, в ритме медленного вальса – этот скрип излучал какую-то голубую плавную прохладу. Вдруг скрип песка сделался более грубым и аритмичным, голубая прохлада сползла, а надо мной пронесся страдающий и хриплый вздох. Музыка медленного вальса и хриплый вздох принадлежали одному телу (это я ощущал, словно от моей головы тянулись усики насекомого) – и это тело страдало не менее моего. Если страдание имеет какую-нибудь материальную силу, то сила чужого страдания тянулась ко мне, тянулась робко и несколько жеманно, отчего я некоторое время льстил себя надеждой, что мое одиночество рухнуло. Моя неподвижность не была монолитом, она равнялась тре-

петному волнению и нелепой застенчивости страдающего существа рядом со мной, она возмущала мышцы, моя неподвижность, беспокоила ожиданием чего-то желанного и возможного. О, будь я проклят за любопытство! Будь я проклят за обнадеженность и желание!..

Я не утерпел.

Я осторожно выдохнул воздух под мышку, затем прополз щекой по горячей рубашке, оперся подбородком о кулак и, чуть приподняв голову, открыл глаза. Она лежала на спине, закрыв лицо влажным платком так, что получилось подобие гипсовой маски, окаймленной короткими завитками черных волос. Ее обнаженная грудь едва заметно колебалась дыханием, а под румяным соском чернела короткая татуировка: *Нет в жизни счастья.*

О, будь я проклят!

Ужас неведомой бездны, из мутного нутра которой волнами поднимаются едкие миазмы и немые вихри предчувствий, раскрылся на песке. Ужас прилипал к щекам и повис у меня на ресницах, как паутина. Волосы на башке зашевелились. А вихри вскипали, в них мелькали миражи ленивых линий, сияли черные отломы, лезвия плоскостей дыбились, как ножи, а память проваливалась в небытие. Те вихри опутывали меня телесными листьями, я вплетался в нагромождение ощущений, натыкался на грани предметов, которых не было. Я словно бы качался на шатком краешке пропасти, заглядывал вглубь, пугаясь волн ужаса, – я боялся смерти в той глубине, а из глубины что-то несло жи-

вое, что было соразмерно смерти, но вызывало безысходный восторг. Когда волна ужаса из пропасти ударила мне в плечи, вздернула подбородок, отбросила волосы надо лбом, раскрывая дорогу для страха, я вернулся в жару, вернул глазам способность видеть реалии живого дня, когда, поворачиваясь на бок в своей постели, я просыпаюсь и вижу, как вместе со мною поворачивается мир земли, всплывая из черноты ночи навстречу светлому сиянию необъятной скорби.

Нет в жизни счастья – о, будь я проклят!

И, словно остановленный чародейским мановением, упал ветер, замерли бронзовые тела волейболистов – шершавая патина зазеленела на освещенных плечах и лицах, мертвая вода синим слитком космического металла покоилась в желтом неподвижном песке, каплями чугуна застыли черные воробьи, и запах индустриального смрада повис в воздухе: нет в жизни счастья. У меня потемнело в глазах.

Память безлика в темноте. В темноте память не знает очистительной скорби. В темноте памяти, прячась, живет насилие. Во тьме скрываются предметы и животные, таятся западни, горят хищные глаза и безразличные звезды. Только при свете скорби сияют небеса, открывается таинство вещей, их святая сущность, их радужная необходимость, их ослепительная никчемность. В мире нет счастья – в мире есть свет, этот свет есть скорбь о живых, а мне надоело скорбеть. О, будь я проклят!

Перед моими глазами дышала белая и прекрасная грудь с румяным соском. Влажный тонкий платок выдох и трепетал над открытыми губами. Это трепетанье передавалось коротким черным завиткам волос в ритме медленного вальса. Даже сокрытое лицо ее жило четким ритмом – ритмом светлой скорби, щемящей теневой нежностью, ритмом таинств и совершений и ритмом неуязвимой вечности. Я глядел на лицо ее, словно платок был прозрачен, и мне открывался мир во все четыре стороны пространства – на юг и север, на восток и запад, вниз и вверх – повсюду, где светит скорбь, где щемит сердце, где мертвое липнет к живому, как тень. В странах антиподов слышались пылкие стихи, рядом аборигены гуляли по раскаленным углям не обжигаясь. За моей спиной скорбью светились глаза вымерших цивилизаций, а в бездне за горизонтом клубились скорбные вздохи от голода и рабства, над которыми били молнии похоти и проливались ливни лени. Все мои видения были несколько приземленными, жесткими, как кинохроника, они говорили правду, которой верить нельзя. Что-то было возвышенной скорби, пронзительней зренья, и мое тело содрогалось. Я глядел на сокрытое лицо ее так долго, словно мгновенье уже остановилось. Короткие удары воздуха – ее дыхание – разбивались о мою грудь, о мой подбородок, касались губ, проникали в мою кровь и плоть, заставляя судорожно колотиться мой пульс, возражая мертвости, которую изобрело отчаяние. Ведь я не умер, ведь и во мне пря-

чется этот четкий ритм медленного вальса, и во мне живет некое зернышко чистого познания, ведь я сама являюсь песчинкой неувядаемой вечности. Значит, мое страдание созвучно ее страданию, может быть, одноименно по силе, следовательно, не должно быть отделено от родственной души ни жарой, ни одиночеством, ни прозрением, ни этим белым платочком на лице ее. Моя рука потянулась к ней, пальцы едва коснулись батистового платка – оттянули его со лба к подбородку, и на меня лишь на крошечное мгновение глянули выпуклые безумные козы глаза с вертикальным зрачком. Безумный смех вспыхнул в каждой клеточке моего тела. Смех тряс меня, как извержение вулкана. Смех булькал во мне, как кипяток. Смех бился в глотке и вырывался наружу, как пар сквозь предохранительный клапан. Мой булькающий смех конденсировался со свистом и рассыпался каплями по горячему песку пляжа. Я ничего не мог с собой поделать – буквально ничего. Я смеялся.

Мало-помалу смех уходил из меня. Капли моего смеха заполняли поры в песке. Песок светился моей скорбью, которая освещает мне мир по утрам. Смех уносил горькую гордость моего самосознания, растворял тщеславие и смягчал границы моей замкнутости. Смех угасал, меняя клочкотание, бульканье и свист на козье бляенье – я увидел себя маленьким лопухим первоклашкой, который мемекает перед носом черной козы, а эта коза пытается вскинуться на дыбы, дрожит от нетерпения, от напряжения и от негодования, шмы-

гает мокрым носом, но не может осилить ременной привязи и мемекает мне в ответ зло и коротко. Видение козы очень быстро растаяло. В жарком воздухе опять сверкнули белые траектории волейбольного мяча. Я опустил взгляд на песок, куда скрывался мой смех, и, чтобы заглушить смех окончательно, уткнулся в пляж лицом. Песок вокруг моего лица сразу потемнел. Потом я ощутил холодное прикосновение травинки. Рыжий муравей бежит по склону стебля, качается, как на качелях, на верхнем краю и, развернувшись, торопится вниз, чтобы пробраться к другой соблазнительной былинке. Он натывается на твердое нефритовое копытце, смотрит куда-то, шевеля короткими усами. Я слежу за муравьем, я поворачиваю голову вслед ему, я натываюсь взглядом на копытце и отворачиваюсь – мне коза не нужна. И когда я отвернулся от копытца и муравья, то услышал всхлипы – по рябой реке шлепал деревянными лопастями колес пароходик, серая вода терпела и сопротивлялась – пароходик еле-еле двигался вверх по реке, поминутно взвизгивал паровым свистком, не то прося помощи, не то предупреждая кого-то о своем приближении. Широкая плотная и черная полоса дыма, как бархат, висела на длинной трубе. Кайма дыма казалась неподвижной и не меняла своей пиратской формы. Под этим дымным флагом на капитанском мостике сидел на корточках рыжий человек в белых брюках и тельняшке, он кормил с ладони махоркой угольно-черную козу, которая

подавалась вперед всем корпусом, прихватывала из пястки табак, жадно шевелила седыми губами, хвостик ее восторженно дрожал.

– Покури, покури, – приговаривал рыжий человек в тельняшке. – Вот приедешь к Пелагее, там не покуришь, там тебе за ради молока все титьки пооттаскают.

Скормив кулек махорки, рыжий почесал козе за рогами и вдруг треснул ладонью по боку.

– Ступай, Мария, вниз, – сказал он. – Ступай яблоки стеречь. Ступай, иди...

На железной палубе между фальшбортом и штабелем белого шифера было насыпано несколько центнеров свежих яблок. К этому складу сбежала коза Мария, обнюхала яблоки, затем потрогала копытом железный борт и преспокойно улеглась охранять яблоки, как сторожевая собака.

Рыжий капитан ушел в рубку. На корме под натянутым брезентом отдыхали на своих мешках и узлах пассажиры без класса. Я сидел на чугунном кнехте у борта, поплеывал в воду и разглядывал дальние гребни синего леса. Я был пацаном на каникулах. Ни запах машинного масла, ни запах яблок не тревожили меня до тех пор, пока коза Мария стояла на капитанском мостике и кормилась махоркой. Но как только коза заняла сторожевую позицию над россыпью яблок, я вдохнул пригорелый запах машинного масла, сквозь который сочился свежий аромат урожая, и возжелал! Мне нужно было немедленно, спасительно, как от смерти,



любое корявое яблоко из той кучи, которую оберегала коза. Те громадные мичуринские яблоки с красными боками, которые лежали в моей корзине под бельем, которые мне мама дала на дорогу, казались мне не слаще травы. Я поднялся, поправил ремешок на вельветовых штанах, потянулся и шагнул к яблокам. Черная коза быстро вскочила на ноги и мемекнула. Что-то угрожающее и твердое светилось в безумных козьих глазах. Казалось, в черном вертикальном зрачке плавится красное золото злобы... Цепные собаки смотрят добрее...

Однако я не перепугался – я разговорился.

– Как тебе не стыдно, Маша, – сказал я. – Ты меня совсем не знаешь, правда же? Зачем ты выдумала бодаться? Может быть, у меня рога в десять раз больше твоих, только их не всем видно. Может быть, мои зубы крепче волчьих, я съем тебя за десять минут, и косточек не останется. Бодаться-то проще всего. Все дураки бодаются – ведь этому даже учиться не надо. Вот если бы я сторожил эти прекрасные яблоки, а ты попросила бы у меня одно-единственное яблочко из целой кучи, я бы не стал пугать тебя своими рогами, я бы выбрал самое вкусное, самое спелое, самое настоящее сочное яблоко и подарил бы тебе.

– Ме-ме, – ответила коза.

– Правильный ответ, дорогая, – сказал я. – Ты была послушной дома и хорошо училась в школе, поэтому ты без труда понимаешь меня. Многие живущие очень нелегко выучиваются понимать друг друга, хотя они ста-

раются, читают толстые книги, смотрят кино... Мама говорит, смотрят в книгу, а видят фигу. Тут плохо дело, тут даже очки не помогут. Правильно я говорю? А ты поняла меня с полуслова, даже с полушага, ибо ты – знаешь. Ты знаешь, что больше всего на свете я люблю яблоки. Я прошу у тебя одно-единственное яблочко из огромной кучи только оттого, что яблоки сторожишь ты, а не собака. Я никогда прежде не видел, чтобы коза сторожила яблоки, или капусту, или картошку, или морковь, брюкву, репу, хряпу или салат. Я раньше никогда не видел живой козы, но я узнал тебя по картинке – ты точно такая же коза, как на картинке в моем букваре. Я очень-очень хочу яблоко... Зачем ты нацеливаешь свои рога? Разве яблоко для тебя и меня не одно и то же?

– Ме-ме, – сказала коза.

– Ты дразнишь меня попрошайкой, зачем ты дразнишь меня? Куча яблок большая – отдай одно. Я не боюсь тебя, ты – коза. К сожалению, мы не на равных: у тебя есть яблоки, у меня яблок нет. Допустим, что тебя не нужно спрашивать, а следует нагнуться и взять одно из яблок, которые ты сторожишь. Может, мне следовало бы почесать у тебя за ушами, как делал рыжий на верхотуре у рубки, ты бы стала сговорчивей или послушней. Я не делаю этого. Для тебя и так легче легкого угодить мне – всего-то подарить чужое яблоко, одно! – и мы бы стали друзьями. Будь умницей, не упрямясь, угости меня яблочком. Эх, яблочко, где ты катишься? Может, если я попробую яблоко из этой кучи, то пойму

что-то такое, что недоступно мне без яблока. Может, просвещенным, я стану сторожить яблоки вместе с тобой. Может, я стану таким сообразительным, что меня станут звать отличником, а может, у меня вырастет шерстка, как у тебя, – я стану козленком, и тогда мы будем с тобой неразлучны.

В ответ на мою речь черная коза Мария откатила копытцем от кучи крепкое зеленое яблоко, откусила от него малюсенький кусочек, пожевала, тряся бородой, словно оценивая спелость и полезные качества плода, а потом коротким и резким толчком отпасовала яблоко к моим ногам.

О, как я был счастлив! Что это было за яблоко! Аромат цветочного меда терялся в земляничном вкусе, а сахарная сладость таила тонкую кислинку красной смородины. Пока я жевал яблоко, на пепельном небе вспыхивали радужные лучи, а серый воздух заголубел, сияя.

– Скажи мне, – раздался надо мной голос рыжего капитана, – что бы ты сделал с тем человеком, кто задумал переманить твоего приятеля, кто наговаривает на тебя, чтобы превратить тебя во врага?

– Я ни на кого не наговариваю и никого не переманиваю, – быстро сказал я, потому что струсил.

– Умница, – сказал мне рыжий человек. – Однако ты не услышал вопроса. Я тебя спросил, что бы ты сделал с тем человеком, который каким-нибудь способом крадет твоего приятеля и очерняет тебя? Для ответа на такой вопрос оправдываться не нужно – я тебя

не уличаю, а думать – обязательно, потому что наши раздумья берегут нас от беды. Если бы я не слышал твоей речи, за которую ты награжден прекрасным яблоком, ты бы получил отличный подзатыльник, но ты говорил славно, ты очаровал козу, ты понравился мне, хотя это все ничего не значит. Странно только, что вы оба – ты и коза – попутчики, то есть оба вы следуете до пристани Лусково... Разве я не прав? Если коза тебя угощает яблоками, значит, признает дружбу с тобой. Мария и мне друг, не правда ли? Вот по-дружески прошу: как придем в Лусково, бери козу и отведи ее в деревню Горести. Это недалеко от берега – версты две-три. С пристани церковь видна – так и двигай на церковь, хоть бездорожьем – путь короче. Понял меня, нет? Как в деревню ввалишься, спроси тетку Пелагею, а ей самой скажи, что, мол, Иван Кузьмич кланяться велел и козу в подарок прислал. Запомнишь, умница?

– Запомню. Очень даже легко запомнить – мне самому надо в Горести, только не к Пелагее, а к тетке Авдотье.

– Однако ж... – как бы вовнутрь себя проговорил капитан и ушел в свою рубку.

Два часа до пристани Лусково я просидел рядом с козой Марией: мы стерегли яблоки, которые никому были не нужны. Мы не очень-то стерегли – так, для вида... Мы сидели бок о бок и глядели поверх борта на далекий берег... Мои глаза не видели самостоятельно – их как бы мгла застилала, как бы легонькая цветная пленочка прилипла к моим глазам, – они видели не абрис

предмета, не объем, а внутреннюю суть. Чтобы понять внешность предмета, мне надо было принюхать к нему, потому что характер пахнет. Чем сильнее характер объекта, тем он пахнет сильнее. Это было мне новым – нюхать, чтоб узнавать, раньше запах только напоминал уже известное. Понюхаешь варенье и знаешь, что это из алычи или брусники. А рядом с козой я нюхал воздух над рекой, я узнавал, что вниз гонят плоты, что в тени от плотов около дна идет косяк судаков, что на дальнем берегу у елей подгнили корни, поэтому лапы с иглами пожелтели и стали пресными.

Под вечер пароходик причалил к пристани Лусково. Бросили сходни. Бесклассовые пассажиры с мешками и чемоданами повалили на берег, сходни под ними качались и скрипели. Потом появились грузчики, они скатили на берег порожние бочки. Пищала лебедка, вытаскивая с палубы шиферные плиты. Пока шла разгрузка, рыжий капитан не отпускал меня с судна, вернее, он просил подождать конца разгрузки, чтобы спокойно и не торопясь попрощаться с козой Марией. Я не хотел смотреть, как он будет прощаться, но голова сама поворачивалась к капитану, а мои уши сами слушали, что он козе говорит. Он сидел перед козой на корточках и с ладони угощал ее махоркой. Он что-то шептал секретное на ухо козе, а Мария кивала головой и быстро шевелила седыми губами. Мои уши слышали только «ши-с-с-су – цак, фы...» Я ничего не понял и обиделся. Потом капитан надел козе ошейник, пристегнул ре-

менную сворку и потопал по сходням вниз, коза шла следом, не упираясь, а за козой, недовольным, шел я.

– Ты Марию не обижай, – сказал мне капитан уже на земле причала, – она чувствует тонко. Соврешь ей, сразу заметит и не простит, но если будешь с ней честен, в обиду не даст, не смотри, что коза, она, брат, вернее любого друга. Я ее специально для Пелагеи вырращивал, обучал, как умел... Ты ее побереги...

Мы уже двинулись с козой прочь от берега, уже дорогу увидели, а капитан за спиной у нас закричал:

– Эй, парень, как звать-то тебя?!

– Борькой, – крикнул я, не оборачиваясь.

– То-то имя у тебя козлиное – Борька, к Марии подходит...

Мы с козой промолчали. Я обижаться не хотел – я уже с парохом расстался, я уже вдыхал сухое тепло земли, и мне хотелось идти. Подумаешь, имя козлиное! Хорошо, не свиное, не ослиное...

Только коза Мария, услышав, что меня зовут Борькой, задрала ко мне голову и очень грустно сказала:

– Ме-е-е...

Мы отклонились от дороги и пошли мокрым лугом на маковку церкви. Длинные травы путались в ногах. В закатных лучах солнца сверкали влажные искры, и черные стрелы кузнечиков порскали в разные стороны при каждом шаге. Коза Мария бежала трусцой, время от времени хватала губами кудряшки гороха или букетики колокольчиков, она весело мемекала, а ей в ответ раздавались тонкие

посвисты сусликов. Слева от нас цвело желтое поле подсолнухов, над которым дребезжали жаворонки. Между стволами подсолнухов лежала по земле синяя тень. Меня смущали желтые подсолнухи, а синяя тень – пугала, я старался не смотреть в ту сторону – специально отворачивал голову к стороне деревни или к еще голубому небу, даже на малиновый закат заглядывался, но синяя тень манила, притягивала таинственной силой, очень похожей на силу дремы, с которой начинается настоящий сон. Конечно, я не дремал, но меня клонило поворачивать голову к подсолнухам и глазеть в синюю тень. Я ждал чего-то, что должно быть там для меня. И вот из густой синей глубины, из чащи стволов под желтыми головами растений, как бы между небом и землею, раздалась тягучая песня:

*Полюбила Борьку я,  
так как жизнь горькая.  
Больше некого любить –  
на войне мой муж убит.  
Тяжко, тяжело, тяжело,  
душу горечью свело.*

Деревня была совсем близко. Были видны крепкие бревенчатые дома, крытые дранкой, и дворы, крытые соломой. Огороды были обнесены тыном. За оградой лежали ровные гряды зелени. А дорога к деревне была пустынной. Деревня казалась тихой – приглушенной, только у каменной церкви слабо тарахтел бензиновый

движок, рассказывая о сумеречной жизни.

Постепенно плачущий голос песни приближался к нам с Марией. Между желтыми подсолнухами замелькала белая косынка. Коза Мария потянулась на голос, как за угощением, но вдруг испугалась неведомо чего и припала худым боком к моей ноге.

Как только певица увидела меня с козой, песня отлетела, стали слышны быстрые шаги, твердое и упругое шуршание подсолнухов и сильное ровное дыхание... Потом над желтым светом подсолнухов появилось молодое и загорелое лицо женщины в белой косынке.

– Эй, парень, ты не с пристани? – крикнула она.

– С пристани, – ответил я.

– А куда идешь?

– В деревню...

– За мной идешь?

– С козой иду.

Женщина подошла к нам, и я с удивлением увидел, что глаза ее вытарашены по-козьи, а зрачок ее глаз – продолговатый. Этими безумными желтыми глазами она осматривала меня долго и внимательно, как прежде делала коза Мария на пароходике, словно принималась, причем тонкие ноздри ее широко раздувались, а нервные губы подрагивали.

– А не видел ли ты на пристани нашего председателя на гнедой кобыле? – спросила она.

– Может и видел, да не знаю, кто председатель и что это за гнедая кобыла.



– А ты чей? – подозрительно спросила женщина.

– Да ничей.

– Откуда ж ты взялся такой ничей?

– А с парохода.

-- Вот оно что, с парохода... Приехал погостить в Горести...

– Может, погостить, может, и жить останусь. Как получится. Тетка моя писала матери, чтоб меня сюда на жизнь отправила, мол, школа есть, и посытнее тут... а то я в городе часто простывал – даже летом... Мать-то работает, ухаживать за мной некому. Налепит она мне на грудь горчичников с самого утра, кашу сварит и лататы... А я потом сам с себя горчичники сдираю, в кровати валяюсь до полудня, радио слушаю до вечера. Делать-то больному нечего. Вот тетка моя написала, что парным молоком меня скоренько на ноги поставит, мне и не надо – я на ноги сам встану, только б не болеть...

– Не горюй, – сказала мне женщина с козьими глазами. – Ты парень самостоятельный: сам ел, сам лежал, сам сюда прибежал, сам козу привез. Не с подойника начал – с козы. Толк в тебе есть, а бестолочь сама выпрыгнет. Такие долго болеть не умеют, а всю-то жизнь маются. Тетку твою как звать-величать?

– Авдотьей, – нехотя сказал я.

– А у нас в деревне две Авдотьи – одна скупая, другая жадная; одна рябая, другая конопатая; одна безногая, другая безволосая; одна хроменькая, другая глу-

пенькая, но обе две глухие, дурные и горбатые. Ты чей племянничек?

– Я к Авдотье Даниловне Волгиной...

– Вот и ладно. Авдотья Даниловна у нас одна, как снег, черна, со всех сторон видна, соседка она мне по левой стороне. Айда вдвоем, я и до дому доведу.

Коза Мария больше не стремилась к свободе – с появлением женщины она как бы стыдилась чего-то или побаивалась, – коза ни на шаг не забегала вперед и не отставала, ее худой бок плотно прижимался к моей ноге. Мы шли молча. Тревожная скованность козы передалась мне. Молчать было трудно. Я старался не смотреть в лицо чужой женщины, старался не замечать ее козьих глаз – стыдился этой похожести и одновременно прельщался огнем безумия в ее глазах, жаждал сказать что-нибудь особенное, чтобы вызвать улыбку на ее продолговатом лице, чтобы восхититься золотым блеском веселья и продолговатым зрачком ее взгляда. Я не знал, что сказать – с чего начать, и подумал запеть, а выпалил:

– А зачем вы песню про меня пели, когда шли подсолнухами?

– Почему же это про тебя, мил человек?

– Про меня потому, что меня Борькой зовут, а вы пели: «Полюбила Борьку я...»

Ветер, как вздох, прокатился по мокрому лугу, что-то тоскливое и щемящее было в этом порыве, словно ветер принес безмерную полынную горечь утраты и головокружительную легкость одиночества.

– Ты забудь мою песню, – сказала она. – Я сама больше не помню этой песни... Бывает, знаешь, вырвется слово, пропоется, простонется, и сразу свободно на сердце станет, только помнить таких слов не нужно – тяжелы для памяти эти слова. Потому что нет в жизни счастья, как не было... Вот имя твое знакомо мне, а прослушала. Как звать тебя, господин хороший?

– Борькой меня зовут.

– Козла красного деревенского Борькой дразнят, на то и козел. А тебя Борисом величают, разумеешь ли?

– Борисом, – эхом повторил я.

– Вот и познакомились мы с тобою, Боренька. А меня Пелагеей звать, без отечества, ибо молода еще.

От этого имени ее мы с козой разом остановились. Зловещая муть почудилась мне в том, что Пелагея, к которой я должен отвести козу в подарок от рыжего капитана, вышла ко мне навстречу с печальной песней про мое имя, что у этой Пелагеи козьи глаза. Коза была встречена не меньше меня, но ее тревога и ее удивление были радостными и нетерпеливыми, словно она дождалась своего счастья, словно я ей уже не нужен. Я решил отдать козу сейчас же в поле у деревни – я думал, что это снимет и мою тревогу.

– А вы знаете Ивана Кузьмича? – спросил я на всякий случай.

– Какого Кузьмича?

– Да рыжего, который на пароходе командует.

– Ах, Ванечку-пароходника? Как не знать, сохнет он по мне не первый год, даже мстить хотел за нелюбовь мою.

– Так Иван Кузьмич велел козу вам передать, и кланяться велел.

Я поклонился. Пелагея присела в траву, взяла козью морду ладонями и посмотрела в яркие глаза.

– Вот она какая Ванечкина месть получилась, – проговорила она. – А козу-то как дразнят, не Пелагеей ли?

– Не-е... – заблеяла коза.

– Ее Марией звать, – сказал я.

– Чертовка она... Черная чертовка, а на меня похожа, – сказала тетка Пелагея и взяла у меня поводок.

Поздно вечером, сидя у окошка в избе родной тетки, я пил чай с медом, а Авдотья Даниловна тем временем пекла хлебы – забрасывала круглое тесто деревянной лопатой в жерло горячей печи, – моя тетка была чем-то озадачена и раздражена.

– Что тебе Пелагея про козу сказала? – спросила тетушка.

– Чертовка, говорит, черная чертовка.

– Сама она черная чертовка, Пелагея твоя. Прости мою душу грешную, – проворчала Авдотья Даниловна.

Я не был согласен с нею, но посмотрел в окно на соседний дом – Пелагеин, и увидел на коньке крыши черный силуэт козы, словно бы наклеенный на громадный диск медной луны, а немного позже – за полночь, когда прозвенели в беге лошадиные копыта на дороге и раздался смешанный дуэт ржання и бляенья, кочерга

стала приплясывать у русской печи и стучать в засаленный противень, а просяное помело упруго подскакивало в углу возле дверного косяка.

...Тугой крик будильника вывел меня из черного омота сна. Трудно раскрылись тугие веки, и серый плотный воздух тугими волнами приник к моему лицу; руки и ноги были тяжелыми и тугими, а тугое одеяло не отлипало от тугой простыни, так что я с большим трудом и усилием вырвался в холодный простор утра. Но и холод не прибавил легкости. Каждое движение казалось замороженным, тугим и тяжелым, и каждая вещь казалась тугой и холодной, словно резиновая. Тугая вода медленно текла из холодного крана – вода не освежала, но холодила, а полотенце было тугим и влажным. Сама моя кожа была тугой и мешала движениям. Тугой пиджак, как скорлупа, облек плечи, и в этом костюме из собственной кожи и тряпки я шел на работу тугой походкой человека с похмелья. Соседи моего дома и соседних домов шли веселей, они дружно туго набивались в автобус – удивительно, каким прочным был кузов автобуса и какие вместительные недра скрывались в форме примитивной, как кирпич, и дребезжащей! И, естественно, в этой бодрости давки и примитивности существования для меня не нашлось места – даже местечка, даже кусочка ступеньки, чтоб опереться ногою, чтобы провисеть на чужой спине хоть остановку. В толпе легко забыться... а толпа отвергла меня.

Я шел на работу пешком, в висках kloкотали тугие удары крови – я был обижен судьбою. С такой обиды у меня начинается предчувствие неприятностей. Любых... Личных, безличных, кипучих пузырями или тайных, как дно омота. Я умею скрывать предчувствия – они есть мое личное имущество, я ими дорожу. Как сказал мой друг Владимир Голубев, в хозяйстве и танк пригодится. Мне танка мало – мне бы что-то простое, как лезвие правды, которым все же не бреюсь – страшно шею перерезать. Обычно мои друзья считают, что я задумался, когда на меня накатывают предчувствия, и тактично не замечают меня. Мои однополчане – товарищи по работе – не друзья вовсе: в окопах борьбы за существование дружбы не бывает, но борьба с общим врагом – есть. Никто из однополчан не заметил, каких трудов мне стоило подняться на резиновых ногах по крутой лестнице. Поздоровался я со всеми привычно: «Привет!» И сел за свой рабочий стол, как смазанный в суставах – в коленях, бедрах и лодыжках. Привычка служит мне занавесом перед спектаклем рабочего дня. Мои предчувствия не соревнуются с привычками – они выше, они даже надо мною.

Как только я сел, предчувствия начали сбываться, как судьба.

– Борис Григорьевич, уделите мне несколько минут вашего драгоценного времени, – зазвучал за спиной голос начальника и, как ни странно, друга, который за десять лет службы в начальстве приобрел нелепую и обидную манеру разговаривать на работе с позиции

силы, употребляя для этого слова выпретенного жаргона, мол, что, отец, ишачишь? – не горюй, во субботу день короткий, можно горе размочить. Ему не объяснишь несурзности, ибо начальник. Как учили: я начальник – ты дурак, и наоборот.

Видимо, я задумался над ситуацией.

– Бибиган, – зашептал рядом заботливый коллега, – тебя шеф зовет...

Только Ангелина – наш общий ангел-хранитель и наша уборщица, у которой мы попеременно занимаем денежку на сухое вино, забывая возвращать в нужный срок («Мальчики, чья очередь отдавать? Мне сейчас нужны деньги...») – только Ангелина, проходя мимо стола, толкает меня локтем и поучает:

– Ты его не зли, все равно без толку...

Это бесповоротная правда – злить шефа нельзя, злить шефа бесполезно, даже если он друг в нерабочее время, ибо неведомыми путями и неопределимыми судьбами являются ему пророчества относительно нашей работы. Эти пророчества в девяносто девяти случаях из ста сбываются – иногда через день. Иногда через год. Это не имеет значения – когда. Гадко, что он высказывает пророчества так, словно уличает тебя в подрыве производства голосом мерзости и занудства, который ему кажется элегантным и забавным. Кроме того, лексикон друга и начальника наполняется мусором той требовательности, от которой даже завидный трудяга и исполнитель впадает в рассеянность

и лень. Я не успел встать на ноги, чтобы встретить лицом к лицу неувязку начала работы, – надо мной прогремел тугой бас друга:

– Боренька, ты будто бы туг на ухо сделался. Конфузия, что ли? Я же позвал...

– Конфузия, – огрызнулся я.

– Вот-вот, именно конфузия. Очень точное слово, очень. Как раз для тебя. Что ты мне вчера преподнес на утверждение? Какие это, к черту, плакаты по технике безопасности? Рассказывай, давай...

Шеф метал на стол листы с моими эскизами, они тасовались, как карты в ловких руках шулера... или гадалки...

– Объясни мне, пожалуйста, может быть, я поглупел для твоих идей, – въедается в меня друг и начальник, – так прямо вот и объясни мне, бестолковому (это чтобы я понял, что бестолков я сам и еще неблагодарен), почему, надо полагать по униформе, этот электрик откусывает плоскогубцами собственный нос? Почему представитель греческого пантеона швыряет в него молнию? У них война за электроэнергию? А этот выверт что значит – откуда около зубчатых колес взялся краснокожий со скальпом в кулаке? И что это за Иисус, которому ты запрещаешь тащить свой крест, если крест этот тяжелее пятидесяти килограммов? Тут что – Сервантес? Почему под грузом подъемного крана сидит верхом Дон Кихот, а его слуга прячется под навесом?



– От верблюда, забыл, что ли? – не выдержал я.

– Ты, Бибиган, этот тон брось. Тебе поручили ответственное и срочное задание, так что изволь выполнять. Мы не в шашлычной. Что ты мне лепишь? Юмор мне твой не нужен. Мне нужна выполненная работа. Благодарю Бога, что руководство не видело твоих художеств. И на будущее учти...

...Он славный парень по вечерам, но утром...

– Я буду вынужден...

... Утром у него не голос, а бубен... ни одной четкой мысли... гулкий бубен шамана, гипнотизирующий оробевших туземцев, – это плакат по звуку на сто децибел, не меньше.

Бубнящие звуки чужого голоса прыгали по столу, ссыпались на пол, отскакивали от стен, от моей согнутой спины – эти звуки били в уши, щелкали по затылку. От этих «бу-бу-бу» я вовсе устал, я повернул голову к другу и увидел в косом луче раннего солнца безумные и удивленные козы глаза моего шефа – и молочный туман до самого неба залил мое утро.

...Туман был таким плотным, что, казалось, будто бы окна заклеены белой бумагой. Звуки в плотном тумане были глухие и мягкие. За белыми окнами где-то кричал петух, замирали перестуки копыт и тихо голосила коза. Я проснулся в тревоге – глухие звуки настораживают. Мир в объятиях этого белого, как молоко, тумана казался опасным, непонятным и как бы исчезающим, словно меня несла куда-то белая волна вдоль белых берегов, а белый воздух в этом

болоте был тягучим, как сливочная тянучка. Но как только я увидел стол, на клеенке которого лежал свежий хлеб, вареное яйцо и рыжая крынка молока, моя тревога испарилась. Я сладко потянулся – даже косточки затрещали: о чем паниковать, если тетка Дуня оставила завтрак, если тепла постель, в избе пахнет сеном и яблоками, а во дворе ждет меня друг, даже если этот друг – коза. Я поел, спеша, но с каждым глотком молока унимал свою торопливость, потому что свежий хлеб с парным молоком выделяли во рту такую вкусную прелесть, что глотать было жалко. Однако молока и хлеба было много, а терпения все же мало, – я выскочил из избы на дорогу.

Утренний ветер поднимал белый туман над землей. Восходящее солнце разгоняло туман жаром лучей – пряди тумана уже просвечивали насквозь. Звуки стали резче, громче и чище. На пыльной красной дороге чернела коза Мария – она меня не ждала, она гуляла около катышей конского навоза, обнюхивала их, трогала копытами и плакала, тряся бородкой. Тут я сразу вспомнил ночное бляение и ворчание тетушки Дуни, и пляску помела у печки. У меня стало горько во рту от этого воспоминания, мне стало до слез горько видеть козу Марию. Выплывавая горечь наружу, я сказал:

- Любовь с первого взгляда, не так ли?
- Безусловно, – ответила мне коза.
- Мне тебя жалко, Мария...
- Нее... – проблеяла она.

...Потом прошло несколько дней, несколько ночей и дождей, но белый туман так и висел каждое утро над деревней Горести. А каждую полночь у дома Пелагеи слышался дуэт ржання и бляенья, и приплясывало помело у печки. Однако коза Мария обиделась на меня, может быть, оттого, что я посмеивался над ее влюбленностью. Может быть, еще и по той причине, что тетка Пелагея стала надевать козе ошейник и привязывать ее к столбику за ременную сворку. Коза потеряла свободу. Коза стала злой. Она лежала с краю дороги и стерегла катыши конского навоза, как некогда стерегла яблоки на пароходе. Со мной коза больше не разговаривала.

Тогда я стал дразнить козу Марию:

– Расскажи мне о любви, – говорил я козе. – Мы были с тобой друзьями, ради прежней дружбы ты должна мне все рассказать, правильно? Нечего скрывать от меня те светлые чувства, которые вселяются в тебя полночью и прячутся в тень с рассветом, а когда они прячутся, ты делаешься злой и замкнутой, словно на белом свете нет ничего интереснее, чем сторожить навоз своей любви, забыв о яблоке мудрости, которое мы ели вместе. Не надо злиться, Мария! От злости у тебя становятся красными глаза – это тебя безусловно портит, то есть не украшает. Скажи мне, мой друг Мария, ты согласна продолжать дружбу со мною, или я тебе больше не нужен? А если я тебе еще друг, то какие секреты от друга-то? Почему ты отмалчиваешься? Отчего не откроешь мне того, чего я не могу уви-

деть сам? Я же сплю ночами, мне только сны доступны, но я их не запоминаю. А если я тебе вовсе не нужен, почему ты меня вызываешь каждое утро из дому своими «ме-ме»? Конечно, вдвоем плакать легче, чем в черном одиночестве, но я не могу плакать с тобой, потому что не знаю причины твоих слез. И не старайся порвать этот ременной поводок, не старайся ударить меня своими рогами – ничего не получится, ибо даже драка не уймет твоих слез. Но если ты будешь добра ко мне или хотя бы ласкова, то я, может быть, отвяжу тебя от столба, и ты сможешь бежать за своей любовью по лошадиным следам. Мне немножечко стыдно, Мария, что я выпытываю твои тайны таким способом. Я сам не знаю, зачем мне нужны эти тайны. Скорее всего, я поступаю так потому, что мне больше не с кем поговорить – только с тобой. Тетка в поле на работе, радио тут нет. Вечером тетка говорит, что твоя хозяйка – ведьма. А все иные люди в Горестях делают бессмысленные звуки, их можно заменить жестами.

Я отвяжу тебя, Мария, даже если ты не ответишь мне взаимностью и будешь продолжать злиться. Я отвяжу тебя, Мария, потому что знаю, что если бы я был привязан, то самое главное для меня было бы порвать путы, чтобы идти в любую сторону, куда хочется. Я отвяжу тебя и пойду следом за тобой, чтобы увидеть то, чего ты мне не рассказываешь сама. Я поступлю правильно – ты будешь делать то, что тебе надо, а я смогу видеть или знать, чего не знаю и не понимаю, но о чем поют и плачут.

Закончив речь, я отвязал козу.

Белый туман отражался в горячих лужах с красными берегами. Туман отражался в темной глубине колодецев, и в плоском лице реки, и в плоских и пустых, как бельма, стеклах окон. Между туманом и землей по жидкой красной грязи рядом с глубокой раной колеи шла коза Мария, ведомая запахом любви. Я брел позади в двух шагах от нее и чувствовал, что дневная жара набирает силу и прижимает нас к земле, что слух делается ущербным, словно у меня вода в ушах, а при ущербном слухе и глаза видят хуже – не так контрастно, как надо бы. Жара явно разъединяла нас с Марией и, кажется, навсегда. Тут неожиданно, как сон, на дорогу из-за тына выскочил широкий красномедный козел с бешеными глазами, тяжелые плоские рога его блестели, как сабли. Красный козел грудью прижал Марию к тыну и, храпя, надругался над ней. Потом козел исчез. Мария некоторое время стояла, навалившись на плетень, ее бока вздымались и опадали, морда сникла к самой земле, даже глаз не было мне видно. Потом она качнулась, как пьяная, вздохнула и со слабым бляением поплыла над дорогой, легко перебирая ногами. У берега широкой лужи с белой водой коза остановилась, звонко мемекнула, вскинулась на дыбы и бросилась в молочную глубину. Тугие волны без брызг сомкнулись над ней... Но через несколько мгновений белая пучина вскрылась и на мокрую траву и на скользкую грязь дороги из лужи выскочила беленькая козочка с голубой яркой лентой в холке.

– Маша! Маша! – заорал я. Что-то рвалось у меня в горле, ломилось в ребра, словно душа хотела вылететь наружу.

Но беленькая козочка взбрыкнула копытцами и пустилась наутек от меня широким кругом по площади или пустырю, что простирался между церковным крыльцом и деревенским клубом, между сараем механизаторов и ларьком сельпо, от которого пахло керосином и карамелью. Я было пустился поперек – на перехват, но тут из тумана восстала тетка Пелагея и приняла беленькую козочку в свои объятия.

– Где же Мария? – спросил я ее, задыхаясь от бега.

– Какая Мария? – вопросительно ответила мне Пелагея.

– Да черная коза Мария, которую я привел вам в подарок от капитана Ивана Кузьмича?

– Не было у меня никакой черной козы, никакой Марии. У меня всегда была белая козочка, она мне как доченька. И зовут ее Фаня – Инфанта, значит. А Мария тебе, наверное, приснилась.

Потом они обе медленно уходили от меня к своему дому. Я не пошел следом – мои ноги влипли в красную грязь, я дергался, вырывая ботинки, и все же мне показалось, что белая козочка что-то сплетничает своей хозяйке – они перешептывались, что ли, головы их то сходились, то отклонялись, а когда отклонялись, то в прореху расстояния вылетали звуки, очень похожие на бабий смех и козье бляенье. Тетка Пелагея в такие промежутки разглаживала голубую яркую ленту в холке козы...

...Она мне говорила: «Я люблю тебя, я женю тебя на себе и жить заставлю». Кажется, я был счастлив.

Это было до жаркого лета – это было тогда. Тогда – это так давно, что не поддается реставрации ощущение ее руки, света ее глаз, звука ее голоса. Тогда – это светлая память минувшего, которое никогда не воспрянет из праха прожитых дней, это подобно крику, погибшему в глубине пропасти, откуда даже эхо не возвращается обратно. Подобно пропавшему крику пропала моя любовь – ушла в пропасть и не вернулась, и прошлое сомкнулось над ней, так что и следа былой глубины не найти. А когда ушла в пропасть моя любовь вместе с голосом, то мой голос проговорил слова о любви. Я долго недоумевал, как же так случается, что любовь приходит, чтоб уйти, а прежде – еще до встречи – жаждется, обретается и звучит? Самому у себя смелости не занимать – я ринулся, не по следам, которые стерлись временем, а по ощущениям – по теплу, по волнам восторга, по ступенькам доступности, чтобы понять любовь, нагнать ее и, может быть, вернуть...

С первых шагов я заметил, что повинуюсь какому-то тайному призыву, который диктует мне поспешность. У меня появилось стремление обрывать начатые дела, заканчивать недоделанную работу, сбегать от друзей, как из плена, увильнуть от службы, сказавшись больным, а найдя промежуток свободного времени, кружить в предметах памяти, ходить былыми дорогами, по кото-

рым гуляли мы с любовью вместе. Оказавшись там, где могла быть моя любовь, где память еще стояла, как кирпичная кладка, я замечал, что меня наполняет раздражение, что вот она – любовь-то, руку протяни, слово скажи, привлеки... да она вроде бы и не рада мне, вроде бы глуха, вроде бы не ласкова и не приветлива, и улыбка у нее, как сусальная позолота... Память моя вспоминала ее голос, а я слышал лживые нотки и видел кривые линии ее взглядов. Тут память моя стала рассказывать, что моя любовь тоже что-то утратила, ищет потерю эту и в себе и во мне, а найти не может – помех много. Помехи эти выдают себя за главность, мол, мы – мелочи, но жизнь состоит из мелочей. Моя любовь перепугалась и побежала... Я дознался до... Мы разделены были, мы – несовместимы, между нами мелочи. И винить тут некого, потому что участь живого человека – одиночество. Я боюсь одиночества, вернее я боялся его... Ослепленный дознанием, я закричал:

– Где ты делась? Где ты? Где...

Мой голос канул без ответа.

С той поры я перестал спешить к любви, я заставил себя выполнять работу и службу. Я стал вслушиваться в слова окружающих, читать их поступки, узнавать о занятиях, пытаюсь сравнить все это с самим собой, чтобы чужим добром заполнить мои ущербы, а увидел море войны – войны явной и тайной, непримиримой и вечной. А я не солдат – я не хотел им быть. И тогда я почувствовал круглый бок земли, который всплыва-



ет в утро вместе со мною в лучах сияющей скорби. Переполненный скорбью, я взглянул в зеркало – в свои глаза, и содрогнулся: там светились золотистые козы глаза с продолговатым зрачком. О, будь я проклят! Я отшатнулся от себя самого – словно молния прошла мир моих мыслей, нанизала их по линиям забот, и получилось, что я живу законами войны, не воюя, или воюю, не зная об этом. Законы войны диктуются поражениями и победами, поэтому воюющие стороны непримиримы. Война течет кровью в каждом из нас, она сидит во мне скелетом, играя мышцами любви – используя их силу... то есть насилуя. И нет на земле такого уголка, где было бы по иному, где не источалось бы мое зло, где обошлось бы без моей вины, ибо воюющий со своей любовью, насилующий ее – воюет со всем миром, а потерявший любовь равен убийце.

– Друг мой, – говорю я, – грудь моя полна страданиями и скорбью, и нет у меня лекарства от этой болезни, и нет сил молчать.

– Дядя, – отвечает мне мой Иуда, – поговори, дядя. Вот некоторые говорят, что ты – дурак, а я не верю. Кто так может признаться, как ты, тот мудрый человек, дядя. Ты правильно сказал мне про скорбь и страдание, можно я тебя поцелую?

Когда его мокрые губы коснулись моей щеки, я почувствовал сивушный запах хлеба и увидел белую козочку с голубой лентой в холке. Козочка прижимала к брюху свое вымя задней ногой и сдаивала молоко в навозную жижу.

Она была недоступна мне, эта белая козочка. А была она белой в любую погоду и в любое время суток. Тени миновали ее, ни пыль, ни грязь не оставляли следа на снежно-белой шерсти. Я пробовал испачкать ее – дегтем мазал, чернилами брызгал... Я дрожал от желания и жажды, когда слышал глубокий и мелодичный голос Пелагеи: «Фаня Фаня! Фаня!» На голос цокали козьи копытца – это моя Инфанта спешила на дойку, чтобы удивить свою хозяйку пустыми сосцами, – спешила получить соленую галету, как лечебную таблетку, – залог любви и заботы и – редкое лакомство послевоенной поры.

Так и не попробовал я козьего молочка. Инфанта избегала меня, я подглядывал за ней тайно. В сумерки она бегала на водопой к ручью за околицу и возвращалась к полночи, а я крался сзади и тихо рыдал, восхищаясь голубым сиянием, которое излучала Инфанта. Однажды у ручья я выскочил из кустов и преградил ей путь.

– Послушай меня, – сказал я козе.

Инфанта закинула рожки на спину и глянула на меня безумными и наглыми глазами, но с места не тронулась. Золотистые искры ее взгляда вдохновили меня, я стал декламировать:

– Был у меня хороший друг, добрый и надежный. Звали моего друга Марией, а по внешности это была черная коза. Мы понимали друг друга с полуслова, с полунамека, с полувздоха. Мы были рады друг другу... Но с Марией случилась беда – она стала бедовой и утопилась в белой луже у самой церкви, а потом оттуда, то есть из лужи,

явилась ты – тоже коза, но белой масти, – и от нашей дружбы не осталось и следа. Я тебя не обидел ни словом, ни делом, ни помыслом. Единственное, чего я хочу, это быть рядом с тобою, гладить твою шелковую шерстку, кормить тебя с ладони и ласкать. Когда ты стоишь на камнях над ручьем и любишь себя, я радуюсь твоей красоте. Если бы ты крикнула: «Лети ко мне!» – у меня бы выросли крылья, я летел бы к тебе быстрее ласточки... Когда ты жуешь таволгу, чтобы дыхание твое было медовым, я готов превратиться в шмеля, чтобы собирать нектар этих цветов... я даже готов стать самой таволгой, чтобы ты тянулась ко мне за ароматом... А ты меня не зовешь. Ты бежишь меня. Сколько же можно терпеть?! Вот я остановил тебя, чтобы сказать тебе все это.

Белая коза заблелая, словно рассмеялась, и, подпрыгнув вверх всеми четырьмя ногами, взвилась надо мной и улетела в деревню. А в деревне эта мерзавка решила мстить за якобы оскорбление – мстить дьявольскую для травоядных и гнусную для мыслящих существ: в деревне Инфанта влетела во двор моей тетки, свалила ударом копытца красавца петуха, чей хвост был подобен лире, оплетенной летней радугой, – прибила копытом петуха, а потом растерзала зубами и пожрала еще трепещущие куски. После преступления Инфанта ринулась в огород, развалила огуречные гряды, обглодала смородиновые кусты и принялась ногами мотыжить картошку, да тут ее прогнала тетка Дуня... Прогнала, но не догнала, и расстроилась. Лицо у нее стало горьким и сморщенным.

– Ты, племянничек, завел дружбу с этими чертовками, ты давай и отучай их от озорства, – сказала мне Авдотья Даниловна.

Да как я их отучу, если меня близко не подпускают? Коза даже на шаг не дает подойти...

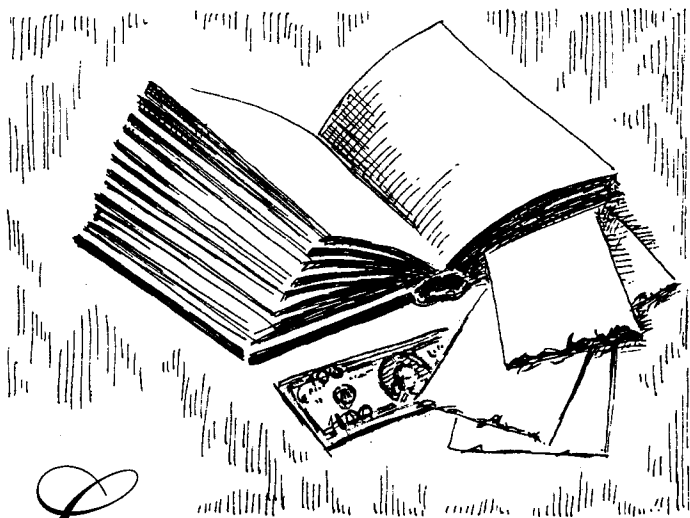
– А ты подкарауль красулю-то, да оседлай, а после, как оседлаешь, хвоста ей накрути... Патефон крутишь? Как патефон и крути... Вот и отвадишь.

Я выполнил поручение тетушки: подкараулил козочку, изловил, оседлал ногами и хвоста ей накрутил... Она заверещала, как раненая птица, рванулась вон – пробила плетеный тын и скрылась в поле подсолнухов. А соседняя тетка Пелагея вечером нашла на своем чердаке труп черной козы – труп лежал в детской люльке, прицепленной к стрехе, а вокруг одра висели обглоданные связки банных веников...

– Поговори, дядя, – говорит он мне, – поговори про скорбь и страдание, про мир войны, про паузы слов и минные поля предложений, про гармонию движения и свободу фантазии, про Вселенную чепухи и про счастье быть одуроченным. Поговори, дядя, я люблю слушать глупые разговоры.

– Нет в жизни счастья, – отвечаю я начальнику и гляжу в козы глаза этого друга, а навстречу мне льется ритм медленного вальса, забеленный пеплом и пеной пива.

Я как бы танцую... В ритме вальса опускается на меня белый туман воспоминаний и прячет мои глаза в долгой ночи одиночества, чтобы утром свет скорби опять разбудил меня...



## СМЕРТЬ ПОЭТА

**Н**едavno слухи разнесли чистую правду. Это бывает. Совпадение. Слухи были слухами, а чистота спуталась с истиной — совпали вместе, как полюбились.

К полубовникам относятся осторожно — это ж еще не семья, спят вместе — всего и делов. Так все спят. Каждый с кем-то спит явно или тайно. Некоторые спят и явно и тайно с разными представителями человечества. Некоторые даже не спят, но прячутся, если это не с человеком. А иные только воображают, как бы они прекрасно спали, если бы...

Недавние слухи, которые растащили истину на лохмотья, шумели так, что уши настораживались у людей,

как у овчарок. Опасности никакой не было и причины опасений тоже, да уж как-то всё не по-человечески вышло — люди так делать не должны, в старые времена такие дела были позорны... Так то в старые, то во времена, их уже не существует и в помине — выветрились даже камни, а от самих людей не осталось и следа. Нет памяти о прошлом... Надо думать, память у нас короткая...

Неделю еще назад слухи метались в полную силу, а что осталось? Сплетни, больше ничего.

Сплетни сродни слухам, может, сестринская часть, может — братская, но не материнская и не отцовская, поэтому сплетни не плачут, не жалуются на судьбу, — сплетни не драма и не трагедия, к сожалению. По сплетням восстановить что-то настоящее немислимо. Копай не копай дерьмо сплетен, только вывозишься. А если копаешь трагедию или эпос — держи карман шире: там золото в развалинах валяется, там Шлиман закатал рукава, там черные мощи Одиссея покоятся на алтарях шлюх высшего ранга — музы Клио, нимфы Калипсо и дочери Гелиоса — Кирки. Современности эпос не к рукам. Современность обокрала людей, даря технологию, поэтому расстояния сократились, скорости бросились догонять космические тела, а национальная гордость, состарившись, превратилась в экономическое вымогательство. Только политика осталась неуязвимой, потому что в жилах политики течет кровь народов: как вся кровь вытечет, так политика сдохнет.

Недавняя сплетня сказала, что из тела Александра Плаксина вытекла вся кровь. Значит, никакой политической смерть его не воняла.

Он умер мгновенно. Выпрыгнув из окна шестого этажа, орлом не парил – рухнул наземь, попав головой на железобетонную черепашу, которая стояла на детской площадке. Если бы он упал на железобетонного верблюда, разницы бы не было. Череп лопнул, мозг выпал, кровь вытекла – Плаксин умер.

Родственников у него не осталось. Мать, за которой он ухаживал почти десять лет на родине и в Америке, умерла на неделю раньше. Возможно, он прожил неделей больше потому, что хотел сам похоронить мать.

Таковы немногие факты из биографии покойного.

Сплетни полетели по пятам биографии, однако сплетни не следопыты, они лишены нюха поисковых собак, у сплетен нет профессионального образования, как у следователей. Зато сплетни вольны и широки, под их раскинутые крыла попадают профессионалы человеческих знаний от собак до следователей и от ученых интеллигентов до невежественных крохоборов, ибо сплетни демократичны.

Принадлежность всему или наплевать на все называется современной демократичностью. Это широкое понятие элементарно сочетается с широтой сплетен, так что в результате не понять, где сплетня, а где демократия. Учтем это, чтобы при рассмотрении сплетен об Александре Плаксине выявить точные данные и отделить биографию от фольклора.

Фольклором называется устное народное творчество.

Сплетнями называется устное народное творчество.

Разница сплетен с фольклором в том, что филологи современности записывают фольклорные произведения (песни, рассказы, сказки), чтобы защитить диссертацию и повысить свой прожиточный уровень на допустимую высоту. Сплетни же бесполезны. Кроме того, сплетни самого широкого охвата все же узки – они замкнуты единичными именами, растворены в микрорайонах сознания и крутятся в том кругу, который свивает своей – ветерок или поветрие на мостовой или панели у жилого дома на лавочке или в замкнутом пространстве служебных помещений, где до сплетен проходили следы живого человека. Более всего сплетни похожи на флюиды – они материальны, как флюиды, потому что их невозможно не заметить, они действуют, как флюиды, невидимо и ощутимо, возбуждая или пугая, но никогда не обещают дохода.

Возможно, что существуют флюиды сплетен, хотя тут теряются границы предмета рассмотрения, и сплетни становятся корпускулярным веществом, как частицы света, которые волнуют потемки людских интересов. Отречемся от чрезмерно тонкой материи флюидов сплетен, отряхнем этот прах, потому что возможность действия сплетен умозрительная, а пространство действия – непостижимо.

Следствия о смерти Александра Плаксина вовсе не было. Полиция зафиксировала случай самоубийства русского эмигранта, который выпал из окна и разбился насмерть. Федеральные власти кремировали останки Плак-



сина, федеральным же властям досталось имущество и сбережения покойного. Слухи не называли суммы денег и цены на предметы обихода, но, кажется, все три стороны не пострадали: Плаксин был похоронен, мебель его квартиры перешла к суперу (по-русски – к управдому), а наличность документирована и передана в «жилищный отдел городского хозяйства» Нью-Йорка.

Вроде бы и разбираться не в чем.

Но.

Повеяло сплетнями. Может быть, ветер Атлантики укрепил крылья этих сплетен. Может быть, русские эмигранты истосковались по именно таким известиям, которые не газетные, которые как бы тайна для газет, без которых прожитый день кажется пресным и бесцельным.

Сплетни, конечно же, уважительны, то есть полны внимания к тому, о чем они сплетничают. Внимание – зачастую недоступная человеку плазма, в которой он мог бы проявить лучшие свои данные. Без внимания нам достается только рутинка. Рутинка обычна, как сплетни, но лишена той праздничной атмосферы, в которой сплетни проносятся изо дня в день. Сплетни о Плаксине были без окантовки траура, словно он не покончил с собой, а вывернулся из неудобных обстоятельств, потому что он был

—  
*хулиган.*

Это неправда. Это черная ложь. Это недостойно даже сплетен. Александр Плаксин был не так уж молод, чтобы хулиганить по причинам буйства юности или по вздорности

характера, – ему было около сорока, когда он прибыл в Америку с больной матерью на руках. У Плаксина даже времени не было на хулиганство, а не только склонности характера. Кроме того, за ним не числилось ни одной разбитой тарелки, ни одного сломанного стула, ни одной разбитой морды тех типов, которые вымогают деньги или сигареты, пристают к женщинам, задирают прохожих или безобразят и сквернословят возле лавок и магазинов. Плаксин в быту был идеально невидим, он ничего не совершал, что могло бы обидеть свидетеля или прельстить стяжателя. Он был сыном тяжело больной женщины – это знали все соседи, этого он сам не скрывал и не гордился: он берег мать, как свою жизнь. Когда она все же померла, он утратил интерес к борьбе за существование.

Еще сплетни говорили, что он –

*бабник.*

Глупости! Как может быть бабником человек, который не встречается ни с одной бабой? Были факты знакомства Плаксина с молодыми женщинами – с «до тридцати», которые считались одинокими и готовыми для замужества. Его мама требовала этих знакомств, она хотела видеть сына пристроенным на случай своей смерти, а он не мог отказать матери в такой мелочи, хотя прежде, то есть на родине, он ей в этом отказывал весьма решительно. Родина на то и родина, что мы решительно знаем, чего хотим и чему сопротивляемся, – это на чужбине мы, как в чужом доме, не зря говорят: в чужой монастырь со своим уставом не суйся. Впрочем, на родине Плаксин выдумал себе свой монастырь

– вернее, затворничество от привычек матери. Дело в том, что мать Александра Плаксина родилась далеко от Ленинграда и первые годы жизни провела в местечке, она была дочерью шамеса, служки в синагоге. От отца с матерью Ася Львовна переняла манеру поддерживать дружеские и деловые отношения с соседями. В конце двадцатых годов многие соседи перекочевали в Ленинград. Лёка-шамес остался дома – умирать на своем месте, как сказал он жене и дочери. Жена присоединилась к мужу, а дочь отправили в Питер к родственнику, чтобы пристроил... Ася еще не называла себя Львовной, она была хороша собой и не хромала – парни оборачивались ей вслед. Не мудрено, что она вскоре выскочила замуж за Моше, инженера и журналиста. Они прожили три года без детей, потом Ася Львовна забеременела и захотела сохранить плод. Мося или Моше, по паспорту Моисей, не возражал жене, но из газеты ушел совсем, а на заводе попросился из конструкторского отдела в цех на производство, чтобы зарабатывать побольше (в цеху даже молоко давали каждый день бесплатно, говорили – за вредность, хотя Мося вредным человеком не был). Проживали Плаксины на Васильевском острове, на Тринадцатой линии, у Среднего проспекта, где было много полуродни-полузнакомых из местечка, где все о всех знали, все всех оговаривали, но жить друг без друга не умели. Мося не пострадал в 1937 году, вероятно, оттого, что о нем инженеры-конструкторы позабыли.

Моисей Плаксин работал на Трубочном заводе, делал взрыватели к минам, гранатам, бомбам, план пере-

выполнял и в передовики не лез. А у конструкторов была свара – кто-то кого-то уличил в шпионаже, что-то там еще случилось – саботаж какой-то будто бы готовился... Моисея Плаксина шум не достал. В 1941 году ему дали бронь и эвакуировали в Сибирь вместе с семьей. Так сказать, Плаксины всю войну горя не знали. Не знали бы горя и после войны, но они вернулись из эвакуации в родную комнату. Соседи из уцелевших оставались как родными, а родные любят припоминать забытое. Тут еще Сталин помер. Дело о вредителях евреях вспучилось... Моисея не арестовали, его ни в чем никто не обвинял, но опыт жизни был так тяжел и безрадостен, что сердце инженера не выдержало и лопнуло. Похоронив мужа, Ася Львовна стала заботиться о сыне. Тут и пошли принудительные знакомства с девушками из местечковых семей, которые хотели только еврейского мужа. Александр Плаксин не чувствовал на себе никакой национальности, он по-такал матери, но невестам отказывал. Получилось, что за два года он перезнакомился с двадцатью девицами, с некоторыми целовался, с некоторыми встречался раз или два, и о нем заговорили, что, мол, бабник: окрутит и деру, а девкам потом рожай безотцовщину.

Как оказалось, что местечковые евреи из дома на Васильевском острове объявились в Нью-Йорке, это одному только Богу ведомо. Ася Львовна болела уже около десяти лет, и все это время сын Алекс ухаживал за ней. Другой жизни он не знал, а не зная, и не стремился к другой-то. Ленинградские сплетни тоже переплыли океан и расселись

по лавочкам рядом с эмигрантами из Советского Союза. У Александра Плаксина появилась биография обновленных слухов с перечнем имен обманутых им женщин...

Потом бывший председатель городского ДОСААФа из Белоруссии – не то Зак, не то Герц с фамилией вредного насекомого, кажется, Клопитский или Клопинский, рассказывал на Брайтоне сказку, что у Сигейта из окошка выпал юморист.

Какой нормальный человек убьет себя, спрашивал этот председатель, когда в руки попали деньги, когда тебе нет сорока, когда мамашка откинула лапти, и никаких родственников нет, чтоб придраться к наследству? Юмор его свел в гроб, клянусь честью!

Председателю не верили почти справедливо, – он был мошенник – продавал бриллианты, а во время передачи покупателю из рук в руки успевал поменять бриллиант на стекло равного размера и одинаковой огранки. Он был бесстрашен, то есть «своим» знакомым не фальшивил. Надувательством чужих гордился, как фронтовик, который дошел до Берлина и видел красное знамя над Рейхстагом. Кроме того, он путал двух Плаксиных, чего делать никак нельзя. Миша Плаксин был осужден на пожизненное заключение за убийство жены, которая не то погуливала, не то обещала выскочить замуж за миллионера, не то ревела каждый день и повторяла мужу слова своих родителей:

– Кому ты нужен? Вывезли тебя в Америку на свою голову! Ни работать не можешь, ни воровать. Папа тебя кормит, мама тебя поит, а я с тобой спать не хочу...

Она могла говорить, что угодно, Миша Плаксин не слушал, а когда вдруг услышал, в руках у него оказалась бейсбольная бита. Он треснул жену по затылку один только раз, бросился в кухню, чтоб достать тестя или тещу, но их в квартире не оказалось. Тогда Миша Плаксин позвонил в полицию...

Клоповский говорил:

– Юморист Плаксин, сухой буду. Развелся бы, и дело с концами. А ему понту захотелось – известности, – замочил марамыгу свою, теперь гнить будет.

– Все мы гнить тут будем, домой не повезут, – отвечали бывшему председателю ДОСААФа коллеги, то есть подельники. Этих подельников было несколько, но у каждого было общее имя Миша, только фамилии были разные. И профессии. Один был специалист по мебели: скупал в Европе, продавал в Америке. Денег своих не тратил – он расплачивался за путешествие в Рим и обратно кредитной картой, купленной у какого-либо местного жителя на неделю. Через неделю владелец кредитной карты звонил в банк и заявлял, что карту стеснули, что он не знает точно, когда это случилось, но последний раз он пользовался ею неделю назад в магазине «Рубик и Сирс». Ему верили, так как он был прекрасный плательщик, никогда прежде не нарушавший правил кредитной компании. А Миша успевал за неделю обернуться в оба конца, и оптом сбывал итальянскую (или чешскую, польскую, французскую) мебель в мебельный магазин, получая половину стоимости наличными.

Второй Миша был взломщик с прокурорским стажем на родине. Он заделался слесарем по изготовлению двер-

ных замков с секретами. Ключи к замкам были так замысловаты, что казались надежны, как Великая китайская стена, а секрет заключался в том, что Миша выпиливал два ключа – один для клиента, другой – для себя, адрес был на квитанции заказчика. В удобное дневное время Миша грабил квартиры клиентов и запивал горькую на пару дней. Пьяного, его грабили негры в лифте или на улице – он не обижался, но жаловался, что в Америке нет надежных контактов – никогда не знаешь, арестуют тебя или ограбят.

Третий Миша был трюкач по ксиве – он заделывал такие чеки с такими прекрасными автографами, что мелкие лавочки давали за эти чеки зеленые купюры, отсчитывая процент за услуги. Миша не лихачил – крупных сумм не рисовал, а удостоверений личности имел столько, сколько нужно, чтобы жить в Нью-Йорке не работая. В середине восьмидесятых, когда в Нью-Йорк дошли слухи о перестройке на родине, Миша Третий купил медальон такси и завязал с фальшивками.

Толкался с уголовниками бывший гинеколог, он был не только честнее их, но и умнее. Ум помог ему решить судьбу эмигранта: он открыл лавочку, где продавал хороший товар за небольшие деньги (зеркала, торшеры, утюги, тумбочки и шезлонги и прочую мелочугу, которую приятно купить за пустяк, а продавать за хрусты).

Предметы торговли лавочник добывал у управдомов (суперов) – он искал контакта с ними, покупал им армянский коньяк и столичную водку, а домуправы продавали

ему за гроши имущество покойников – все чохом (от ковров на полу до лампочек на потолке). Квартира в две-три комнаты стоила 250 долларов. На счастье зубного техника, в Нью-Йорке была регулярная смертность, поэтому товары поступали два раза в неделю.

Только русский Витя, неведомо как убывший из Ленинграда, контактил со всеми дельцами уголовных эмигрантов. Витя открыл «говнячку» – магазин подержанной мебели, где продавал в основном новые спальные матрасы. Прибыль была не сумасшедшая. Зато прибыль от продажи лавок с городским разрешением на торговлю обогатила его. Витя за лавку цену не ломил, но и кредита не давал, считая, что лавочник должен иметь наличные, чтоб раскрутиться, – он брал за лавку с товаром 4–5 тысяч и еще давал адреса, где можно было найти тряпье по дешевке – в тюрьме ли, в армии или еще где – какое это имеет значение? Все правильные организации списывают изношенные вещи – и выбрасывают их. Если вовремя созвониться, то можно за сотню долларов схватить тысячу потрепанных джинсов, а это уже куш, даже если по паре долларов за пару.

Вот этот умный делец или хапуга – каким боком смотреть, этот земляк обоих Плаксиных уточнил: Сашка Плаксин был поэтом.

– Да, Пушкиным он был, – усмехнулся Лева, дрянь и рвач, но ленинградец тоже, – с Пушкинской улицы, а брат у него – Толстой, на Петроградской у Института скорой помощи валяется.



Миша Первый обиделся.

– Что ты покойного парафинишь? – спросил он.

– Не хрен помирать, – ответил Лева Дрянь.

Александр Плаксин их не слышал, но и слыша, вряд ли бы взразил. Дело в том, что он был некоторое время юмористом. Он учился в десятой школе Васильевского острова на набережной Невы, где стоит бронзовый Крузенштерн. Сама по себе десятая школа была не лучшей в районе, но там учились удивительные люди и преподавали невиданные преподаватели, одним из которых был легендарный Давид Львович Запольский. Ученики старших классов десятой школы год за годом записывали изречения Давида Львовича и мечтали издать их книгой, хотя бы рукописной. Сашка Плаксин вел дневник высказываний Запольского, повторяя цитаты наизусть похожим голосом учителя.

– Плаксин... послушайте меня, Плаксин. Мне хочется плакать, когда я вас вижу. Я уже плачу. Я даю вам фызыку уже два года, и все два года вы ни в зуб ногой, ни пяткой в студень. Это надо ж уметь! Вас в кунсткамеру надо сдать, положить в банку со спиртом и написать бирку: тут лежит Плаксин, который не знал фызыку. Хотите так? Как хотите. А я вам скажу честно: вам фызыка не нужна, вам надо ляжки развивать – ляжки! Вы – спортсмен!

Запольский говорил с невероятным акцентом местечкового еврея, он и внешним видом изображал местечкового еврея – темный лапсердак в перхоти по плечам, местечковые шевеления руками, словно это были сигналы вахтенного учителя на корабле школьных знаний. А его

афоризмы могли проломить любое самосознание, если к ним прислушиваться на полном серьезе.

Не знать закон Архимеда, говорил Запольский, это все равно, что встать грязными ногами в тарелку с молочным супом.

Класс замирал, как громом пораженный. Только Плаксин говорил: «Ага!» А потом скоренько записывал в общую тетрадь шедевр учителя.

Впрочем, среди учащихся тоже были изысканные остряки. На выпускном вечере, после вручения отличникам золотых медалей, самбиста Шмидта связали с девицей из тридцать третьей школы, положили эту пару на газон с молоденькой травой и – покинули. Никто не знает, сколько потребовалось сил и терпения, чтобы развязать путы, но утром следующего дня эта пара подала заявление в ЗАГС, чтоб образовать семью на законном основании.

Александр Плаксин проживал со Шмидтом в одном доме на Тринадцатой линии, но обучался в параллельном классе, поэтому особой дружбы между ними не было. И вражды не было. И антипатии тоже не было. Однако, узнав, что Лев Шмидт женится потому, что провел ночь с незнакомкой связанной силой, Александр Плаксин утратил к юмору привязанность и интерес. Шмидту перед свадьбой он написал стихи, из которых в Нью-Йорк не долетело ни строчки. И все же с тех пор, то есть с 1953 года, Александр Плаксин стал поэтом. Печататься ему не удалось, ведь нужно было поступиться если не честностью, то мнением, если не темой стихотворения, то его формой. Не то

чтобы он был поэтом новатором, но Плаксин считал, что поэзия – единственная реальная свобода у человека, что любое насилие над свободой смертельно и для души и для поэтичности. Очень серьезное отношение к творчеству само собой наградило поэта ограничениями – он выпал из среды сверстников, вышел из среды местечковых соседей и не нашел хотя бы приятелей среди граждан. Потом смерть отняла у Плаксина отца. Мать приболела. Сперва он думал, что она несколько «играет» – овдовела, тоскует, – ведь сын не товарищ жизни, а вымогатель. Плаксин был студентом института, когда мать первый раз разбил паралич. С тех пор жизнь матери стала смыслом его жизни. Поэзии не мешала забота о ней, напротив, именно забота о безусловно больной навеивала глубокие мысли о человеке, живущем на земле бессмысленно и паразитарно. Иногда он читал свои стихи больной маме. Ася Львовна закрывала глаза и молчала, плотно сжав губы. У нее был хороший слух, а сознание как бы заострилось от болезни.

– Что скажешь, мамуля, – шутливо спрашивал он у матери, – хорошо я выразился про любовь? Ты бы стала читать мою книгу?

– Мишугине, – отвечала Ася Львовна. – Не ищи себе приключений, они тебя сами откопают.

Александр грустно улыбался, а потом начинал читать для мамы безвредную детскую романтику Роберта Л. Стивенсона или славного реалиста тридцатых годов Бориса Житкова. Его мама очень любила обоих этих писателей и могла слушать их часами. Даже в Америку он привез

«Остров сокровищ» и «Катриону», правда, они не понадобились в Нью-Йорке – мама его устала слушать, она чем-то была занята, о чем-то постоянно думала, а когда он пробовал выспрашивать ее, выкрикивала неразбериху слов – смесь еврейского с рыночно-колхозным, эта неразбериха не объясняла, в каком времени чувствует себя больная...

– Мы познакомились с Плаксиным еще в Ленинграде, когда он бегал по инстанциям, собирая документы для выезда, – сказал Витя. – Я спросил, кем он собирается работать в Америке. Он сказал, что – никем, он живет для мамы, а если будет возможность, то издаст книгу стихов. Я ему сказал, что стихи – не работа. Он ответил, что стихи – это судьба, а судьба не в наших руках. Тогда я попросил его почитать. Он отказался. Он сказал, что читают – чтецы или поэты, уверенные, что умеют читать поэзию, а он только пишет, его даже не интересует, хорошо он пишет или плохо, главное, что не писать он не может, как не дышать. Это было красиво сказано, но неубедительно – хлеба веры не найти. Ну, Сашка не подкачал, сказал, что даст мне горбушку для сытости, если встретимся за границей. Он сдержал слово, правда, не книгу свою, а несколько листов подарил. В столе храню, как на удачу...

У Виктора в боковой тумбе стола в нижнем ящике лежали стихи Плаксина с дарственной надписью мелким четким почерком:

*«Победителю от безвозвратно потерянного Александра».*

– Он меня считал победителем, – сказал Витя, – а я не побеждаю, а выживаю.

На что бывший гинеколог ответил:

– Победитель – это, Виктор, твое имя, понял, чудак? Дай прочесть.

– Только про себя. Не хватало, чтоб клиенты услышали, что тут стихи читают. Такие слухи пойдут, ни матраса будет не продать.

Вите не возразили, а бывший врач переписал стихи в записную книжку – прямо против телефонов «суперов», с которыми он контактил постоянно.

Витя смотрел без ревности, как переписывают строфы его подарка. Он был удивлен, что кто-то заинтересовался Плаксиным. По мнению Вити, поэт тот, о ком разговаривают, потому что поэтов не бывает без славы, а славы не бывает без разговоров. Он ценил поэтов вообще – общим числом, так как о поэзии говорили на родине газеты и журналы, молодые люди обменивались между собой общими мнениями, считая это за свое собственное, и каждый гордился знанием и мнением о поэзии. В эмиграции поэзия никого не интересовала, даже упоминать о ней было глупо – люди болезненно приживались, им бы работу найти пожирнее... Если бы Плаксин не принес Вите стихи, он бы никогда не вспомнил, что был знаком с поэтом еще в Ленинграде. Ну, а что Плаксин выбросился из окна, считай, на следующий день, как принес Вите стихи, то тут никто не виноват. Все же хорошо, что принес, – Витя был уверен, что слухи про знакомство с поэтом ему не повредят, разве расширят диапазон интереса о связях Вити со всем миром Третьей волны.

Вот одно из стихотворений Александра:

*По реке плывут парики,  
Наши мысли тяжелы и горьки.  
Иссякают дожди тиражей  
По могилам былых вождей.*

*Слепнет свет под шум и шорох слепней,  
Боль горит, живого солнца сильней,  
Ветер сплетен то морозит, то жжет,  
Долг и совесть проявить себя ждет.*

*Блестит кровью свежей ягоды сок,  
Соблазняет только лишний кусок,  
Не выдерживает зноя сосна –  
Иссыхает, сыпя иглы по снам.*

*Август, август! Ах, какая пора!  
То на крик – помощи!  
То на ура....  
Зубы ломит ключевая вода  
Безразмерного, как небо, труда.*

*Вот уже и осень лысая видна,  
За рекой, где ни вины и ни вина,  
А хмельно! И не желаю трезветь!  
Тень и смерть лежат по жухлой траве.*



# У ЛУКОМОРЬЯ...

Эссе

*Как на острове Буяне  
Труд делили россияне  
Возле дуба. Там коты  
На золотых цепях, там слухи  
Налетают, словно мухи,  
Там русалки и хвосты.*

*Мужики весьма серьезны –  
Сотрясают светлый воздух,  
Чтоб осыпалась листва,  
Желуди лежат буграми,  
Ни цветка нет под руками,  
И пожухли деревья.*

*Пес бездомный и безродный  
Начал тявкать, как голодный,  
За дубравой. У барака  
Чья-то баба встала раком.  
Время полдня началось.  
Расцвела под солнцем злость.*

*Звон железа раздается,  
Кухня к дубу подается,  
Очередь спешит вперед.  
Мужики трясти устали:  
Все же люди не из стали,  
Их беречь пришел черед.*

*А коты и не мурлычат,  
Цепи тащат для приличий  
И обиженно шипят,  
Что народ к ним без симпатий.  
Не поют коты, плевать им,  
Развели коты котят.*



*То есть правильной отметить,  
Что у кошек нынче дети  
Стали главным трудоднем.  
Впрочем, толку никакого  
От величия бывшего –  
От цепей. Горит огнем*

*Солнце, теням угрожает,  
Жизнь тихонько дорожает,  
А течет и так, и сяк:  
Есть работа – нет зарплаты,  
Словно дни былой блокады  
Прислонились на косяк.*

Это экспозиция, она вспыхнула картинкой перед глазами: дуб, тряхомуды, шум листвы, кошки полосатые, обглоданные рыбы хвосты, а может русалочки – не разглядел, вдали море, бараки, суета, детвора. Дети скачут, бабы плачут, хлопочет на ветру белье... И я заплакал, как с горя, вроде бы без причины. Почудилось, что стою у воды на стадионе КИМа против Вольного острова. У берега торпедный катер валяется – полуразбитый, с катера хорошо нырять, как с маленькой вышки. Нырjali с открытыми глазами – в воде была колючая проволока ограждения, нужно было пронырнуть между двумя рядами колючек и плыть к Вольному. У острова Вольного – сильное течение, сил не было одолеть его:

течение сносило к свалке, и назад к дровяным складам, которые стояли на земле непостроенного стадиона, надо было идти пешком. Так началось это эссе.

Эссе – форма литературного произведения, обычно – в прозе, но не обязательно. От очерка, рассказа или повести эссе отличается тем, чем отличается живой человек от своего портрета, то есть эссе не терпит беллетристики, не нуждается в сюжете и не содержит героев. Главное лицо (видимое или нет) – автор. Материал – чувства и мысли автора в момент работы. И ничего больше.

Как написал «и ничего больше» – возмутился. Ведь получилось правило, а эссе по правилам не пишется. Какие правила у мыслей? А про чувства даже стыдно искать правил.

Даю себе волю писать так, как хочется и можется в данное время. Я же не работаю – уже пенсионер, как безработный. «Бороться и искать, найти и не сдаваться» давно не для меня, потому что еще до пенсии – трудягой – искал только кусок хлеба, чтоб выжить, для этого вкалывал или вламывал, не скажу, что работал, ибо это не работа – чистить гальюны и красить поребрики на заправочной станции, – это чистое наказание. Я терпел – наказывал сам себя, потому что за рабочую смену получалось два-три часа свободы, чтобы писать. Работал ночами. Ночью почти все люди спят. Если гальюны чистые, а поребрики покрашены, остается только писать. Пишущая машинка у меня была под руками, а вокруг ночь. В ночи высоко-высоко сто-

ят завораживающие звезды. Я смотрел на звезды, а они – на меня, и между нами возникало некое напряжение, заинтересованность, что ли. От заинтересованности до видений рукой подать, и мне виделось то одно, то другое. Писал тогда беллетристику, то есть вымышлял, а видения мешали, они вкрапливались в умысел, невольно оживляя прозаический текст. Когда поддавался видениям, получал от звезд вознаграждения. Один раз браслетик золотой со звездой Давида. Другой раз семья моховиков выросла на газоне. Я ликовал, как от признания... А потом браслетик потеряла дочка. Моховики же стали расти по многим газонам Хьюстона – это садово-парковое хозяйство мэрии где-то закупило дикой земли, наверное, на севере и задешево, и вот с 1985 года в городе началась для меня грибная пора. Как затоскуешь по родине, отправляешься на поиск, а земля тебе грибы подсовывает, мол, за верность отчизне, где кормился моховиками месяца два в году.

...Картинка у лукоморья вспыхнула, спустя почти двадцать лет после грибов. Она моталась в сознании, как плакат на ветру, то близко к носу, то вдалеке. Я записал. Потом стал думать...

У видений и снов прочная основа – информация. Сны и видения не знают, умеешь ли ты понимать то, что видишь, как в телевизоре – картинка есть, звуки прогуливаются отрешенно, а как эти звуки с картинкой пришли на экран – таинство технологии и оборудования. Человек технологически обеспечен с изобилием,

компьютерная система сознания изощрена настолько, что человек своих возможностей не знает и читать свой компьютер не умеет. У меня перед иными есть один процент привилегии: подозреваю, что информация, которая видима, предьявлена нарочито. Кем–чем? Кого–чего? Кому– как? – забудем. Не суйся со свиным рылом в суконный ряд. Грубое указание, но точное: мы не постигаем явления другого ряда действительности, и порядок сознания у нас ограничен невежеством.

Что случилось со мною? Или так: что случилось для меня?

Укачиваемый ритмом, разглядел дуб у лукоморья, детальки увидел, послушал слова и не удержался – записал, чем припечатал видение на бумагу, теперь думай, татарин, где тебя монголы бросили.

Когда слышу ритм, что-то совершается в памяти – кипение какое-то, клокотание и шипение. При кипении пузыри выталкивают накипь. У памяти накипь выражена словами, которые выбрасываются на поверхность сознания. Мои губы зашевелились, повторяя шум накипи:

*Нужно бы про детвору,  
Что пасется на юру,  
Загоняя мяч футбольный  
На газон или в дыру  
Подворотни...*

.....

*Малыши растут в коросте,  
А играют на погосте,  
что нормально беднякам  
.....  
.....  
.....мужики по кабакам*

*Плещет грешная тоска  
Моряка или солдата.  
Баба все же старовата  
И усохла, как доска.  
Баба – как большая лужа,  
Если образно, и хуже  
.....*

*А соперник – друг и брат  
Или часовой у врат,  
Кто не видит документа  
У входящего в покой  
.....  
.....*

\* \* \*

Если потакать накипи, то смысл картинки у лукоморья превратится в груды рванья, а сознание, как курица, станет клевать зернышки или червячков, не соображая, каким образом съестные припасы рассыпались перед глазами. Поэтому:

*Сказка – ложь, да в ней намек...*

Намек – признак анекдота, намеку зрение не представляет интереса. Можно бы назвать намек тривиальностью и пользоваться им, флиртуя (завлекая, приманивая или облапошивая). Такой прием знания мне не к рукам. Мой друг говорил, что «звезда» не к рукам – хуже варешки: ни ума, ни пользы, ни удовольствия. Кроме того, у меня нет генов Ивана Баркова, нет святости Пушкина и нет аристократичности Алексея Константиновича Толстого. И откуда бы, если...? Я – автор уличный, точнее, с Васильевского острова в Ленинграде, и национальность моя – василеостровец. По замечанию проходимца с Большой земли, кто приехал в Ленинград, чтобы увидеть место блокады, Васильевский остров похож на амебу – по абрису. Он – чужак, оттого и видит зло неправильно, но искренне. А мой Васильевский похож на человеческое сердце, омываемое холодной кровью Невы. Мой остров лежит, как в термосе, и сохраняется от окалины, которая шелушится от капиталистического угара России. Русь все еще существует, но как бы в колониальном варианте, а по привычке умысла о самой себе куда-то мчится. Мне нужно взять слово, которым пользовался Н.В. Гоголь, когда увидел Русь тройкой. Тройка неслась, хотя в гоголевские времена Россия курицей не была.

*Русь несется без дорог,  
По дороге, видит Бог,  
Тоже мчат не сладко...*

Если в накипи появилась дорога, то сознание за обочину не выпрыгнет, его стремнина влечет. Дорога сама по себе дело рук человеческих – намеренное, трудоемкое и связывающее социальные гнезда. Русский классик заметил:

*Большая дорога, большая дорога,  
Немало простора взяла ты у Бога...*

Да, дороги первыми обокрали Божий простор. Потом к воровским дорогам прибавилась техническая оснастка – колесный транспорт и тягло. Когда тягло стало вытесняться моторами, Божий простор сократился на треть, а с помощью авиации Богу просто места не осталось на земле – весь шарик можно за сутки облететь, или меньше. Вот одолеют ученые гравитацию, тогда про расстояние забыть придется. А прежний вопрос повисает в пространстве сознания: куда нестись? – к смерти? – не извольте беспокоиться, мы не вечны ни в пещерах и шкурах, ни во дворцах и замках, ни за спинами охраны, ни в космических аппаратах.

Тут следует передохнуть – запыхался, прыгая по деталям картинки. Требуется осмысление увиденного разом – увиденное мною, чья индивидуальность не кон-

тинентальна. Ритм, который прибил к рукам первые строчки, как бы выдал сказку обо мне:

*Как на острове Буяне  
Труд делили россияне...*

Остров Буян – это мой Васильевский. Взгляните на этот остров. Лицо его обращено во внутреннюю сторону – в город: тут маяки на стрелке острова, Двенадцать коллегий, Биржа, Кунсткамера, Меншиковский дворец, Академия художеств... А потом покатались тыловая и затылочная части – заводы, заводы, фабрики, и только против Лахты на свалке, которая уместила болото, выросли многопалубные корабли жилого массива. Странно, но факт – Васильевский остров вписывается в историю каждого столетия России, правда, начиная с Петра Великого. Два с половиной столетия Васильевский твердо держался социально и географически. Примкнувший к массе острова меньшей брат Голодай был переименован в остров Декабристов, а в душах населения Голодай неистребим. Так и говорят мои островитяне: мол, на свалке, на Голодае, за кладбищем. Только одна гибель проточила географическую линию Васильевского острова – исчез маленький островок по имени Вольный. Это случилось к концу XX века – не сохранили острова Вольного, сравняли со свалкой и застроили домами: знайте, мол, жители, воли нет и больше не будет, она сошлась с Голодаем.



Я покинул мой остров за двадцать лет до нового века. Это было грешное время. Коты, простите, поэты от лукоморья кинулись на континент и стали мурлыкать продажные песни. А кто не захотел спастись на континентах, тот пропал – кто в шахту метро бросился, кто спился, кто в толпе растворился. Архитектура еще осталась – с внутреннего фронта. И кладбища остались, но на них уже не хоронят. К XXI веку в моем городе на Неве вообще не хоронят – нет земли для похорон. Мертвецов сжигают – кремируют...

*Пожалеет нас страна –  
Допьяна нальет вина  
Или самогону.  
Патриотам хорошо –  
Каждый свят, кто отошел  
Глубже обороны.*

*Факты жизни тут нужны,  
Как зарплата у жены,  
Чтобы легче выжить, –  
Корень в деле, как хребет,  
Если нас нужда гребет  
Или черт мотыжит.*

\* \* \*

*Тут бы развернуть сюжет,  
Сделать благородный жест.*

.....  
*Прет она, судьба, гляди,  
Пышет пламенем, гудит!*

\* \* \*

*Вот погост новейший –  
С газовой печкой,  
Грейся, мой сердечный,  
И гори, как свечка...*

Вдруг ритм хрустнул, изменил дыхание, мои слова потекли как бы по течению, которого не одолеть. Куда меня течение несет? Не важно. Не утопит. Несет, как между Голодаем и островом Вольным несло – сносило к свалке. Со свалки пешком хоть домой идти, хоть на Смоленское кладбище, где частенько назначались встречи с девушками... Постой-ка, я же споткнулся о крематорий...

*Огонь последнего тепла  
Тебя на пепел переплавит,  
А пепел не попомнит зла  
И горьким словом не ославит.  
Все утешение... Твой внук  
Не будет помнить этих мук,  
Если сподобится добыть  
Легко и ловко, как убить,  
Угодья, рухлядь, ну, и золото,*

*А если нет – тогда труба,  
Тогда петля, тогда слеза,  
Которую зовут зарплата.*

*И повторится сказка вновь  
Про мужиков и про любовь,  
А с ними про котов у дуба.  
Лукавый будет чушь нести,  
Чтоб от греха себя спасти  
до святости или – до блуда.  
Глупец разинет круглый рот  
И, понимая, не поймет  
Ни буквицы, ни промежутка,  
Пробела то есть.  
Дальний гром  
Встряхнет и дуб и отчий дом  
От маковки и до желудка.*

*Придет порыв или позыв...  
Волк в клетке, в памяти завыв,  
На диск луны направит очи.  
А я с ним вместе запою,  
Жалея молодость свою,  
Напрасно данную рабочим.*

*С волками жить – по-волчьи выть,  
Тогда харчей дадут на выть  
И постоянную прописку,*

*А не охотник им служить –  
Придется голову сложить  
В любом углу земли российской.*

*Мы дождались: судьба едина*

.....

.....

*Все нации жирны властями,  
Статистике греметь костями,  
А людям – медная труба.  
Огни и воды не минуют  
Трудами нас ни на минуту:  
Вотще, учитесь выживать!  
...Залезло солнышко в окошко,  
гуляют тени по дорожкам,  
похожие на кружева.*

*Ах, осень явно осенила!  
Достань тетрадь, возьми чернила  
И Болдино изобрази!  
Да недосуг чертить узоры,  
Когда, овеваны позором,  
Народы прячутся в грязи,  
Коты цепные им мурлычат  
По радио, и всяк талдычит  
Раденье Богу показать.  
Пустое дело! Лучше к дубу,  
Или в пустыню, или в дупу,*

*Или куда глядят глаза...*

*На небе ясная примета –  
Летит комета с того света,  
Огонь без дыма волоча.  
Ударит в Землю и разрушит:  
Побитые смирятся души,  
И власть начнет права качать.*

Пришла пора ставить точки над *i*, как говаривали в давние годы, подводя итоги бранных разговоров о вечных передрыгках человека в социальной капусте. Человек, в первую очередь едок, хотя утверждает, что ест, чтобы жить. Как едок человек прорезает капусту существования лист за листом, выгрызая себе пользу и удовольствие. Как существо мыслящее – человек не ограничен ни властью, ни догмой, ни воображением. Однако использует он мыслительный аппарат на весьма незначительный процент, что безнравственно. Безнравственность развивает только техническую цивилизацию, что смертельно для человечества. Для преодоления застоя мышления людям следовало бы глядеть на себя со стороны независимыми глазами, как смотрят на нас комары и деревья, травы и камни. Мыслящему существу нет нужды в подавляющей силе, оно преодолевает невзгоды разумом. Но не секрет нынче и не было секретом во все былые времена, что люди надеются на силу, добывая богатства, уверенные, что имуществом окупится пролитая кровь и помятая душа.

Если бы картинка «У лукоморья» привиделась во сне, и горя мало: во сне – понятие разрешающее, видящий как бы ни при чем – ему показали, он увидел. А как быть, если наяву? Видение есть, а сослаться не на кого. Начинаешь разбираться в виденном или – забывать, – оба пути равнозначны и равноправны. Мое лукоморье не забывалось, а мелкие детали выскакивали из клокотанья ритма. Ритм обычно явление короткое, но кабальное. Когда мой ритм хрустнул и чуть-чуть вытянулся, стало понятно, что возникла точка преломления, от которой завязался разговор не про лукоморье и не про картинку, а как бы про результат существования на основе мемориальной памяти. Это и есть итог, который проявился сам собою, так как автор за время видения, увеличенное на время записи, не изменился, не отступился от прошлого, не поддался текущему и не стал сочинять будущего. Васильевский остров все еще похож на сердце – по абрису, и холодные волны Невы все еще омывают берега его. Хочется думать, что мой остров долговечней барачков, заводов, мануфактур, трущоб и политических извращений, что грех и святость – всего лишь временная листва в саду человеческой жизни, что корни нашего сада прочны, почва питательна, а груды сбитых желудей всего лишь разрядка душевной напряженности.

*Ленинград–Хьюстон*  
1963–2003 гг.

## СОДЕРЖАНИЕ

Гриппозное состояние .....	3
Дуранда .....	30
Черемуха цвела .....	49
На пне за болотиной .....	67
Скучная жизнь .....	90
Случайный муж донны Анны .....	104
Теснота пустоты .....	128
Собачий сон .....	151
Гадалка .....	166
Однолюб .....	187
Белая и черная коза .....	215
Смерть поэта .....	252
У лукоморья. <i>Эссе</i> .....	270

С. Гозиас  
Г57 **Васильевский остров: Рассказы.** – Издательство писателей «Дума». – СПб, 2003. –288 с., ил.  
ISBN 5-901800-37-0

Книга прозы ленинградского автора, ныне проживающего в США, согрета ностальгической любовью к Васильевскому острову, к той части нашего города, которая сформировала автора как человека и писателя. Написанные в различной стилиевой манере, рассказы этого сборника психологически точны в поступках и мыслях персонажей.

84Р7

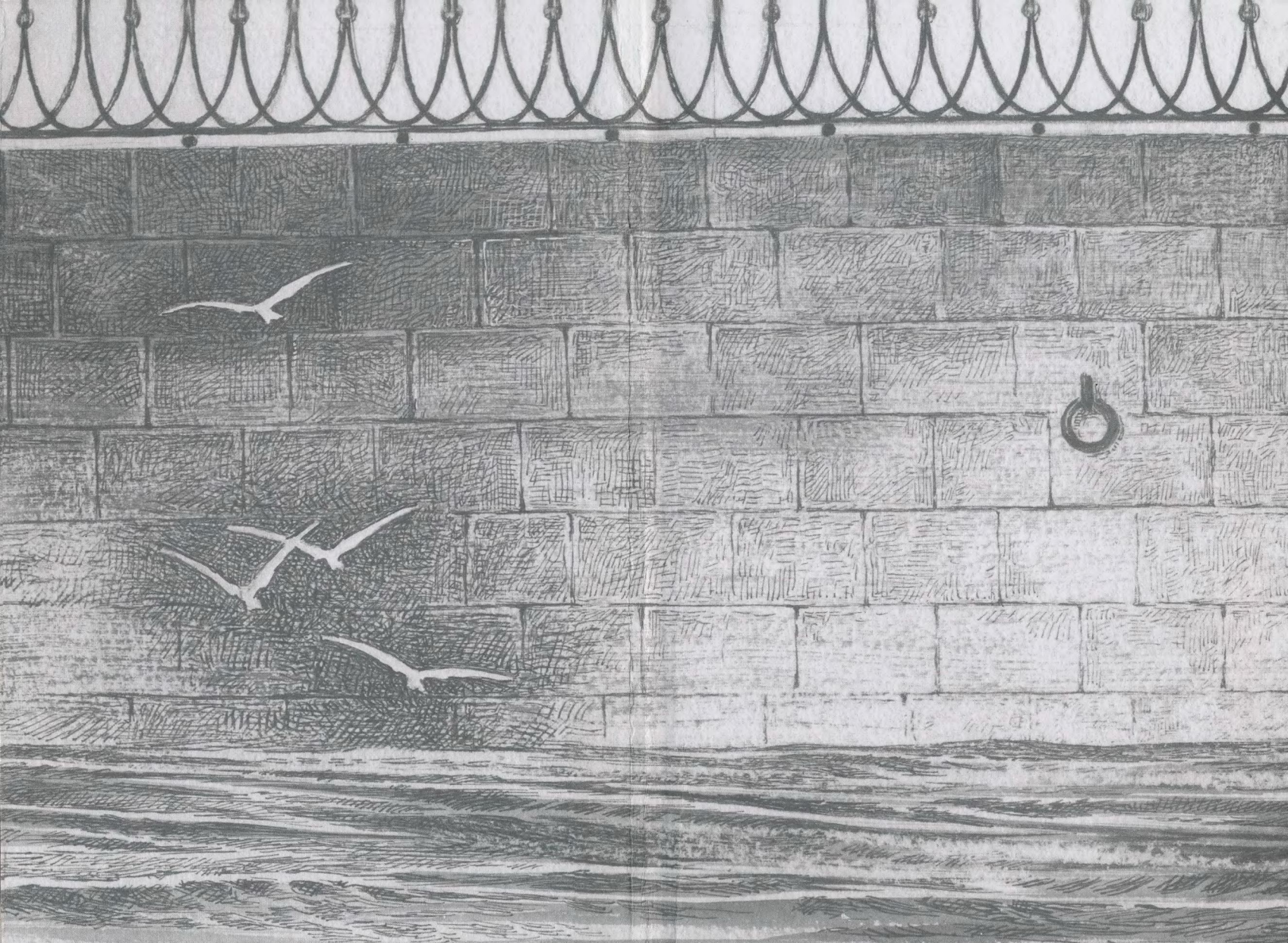
Слава Гозиас  
**ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ**  
Рассказы  
Литературно-художественное издание

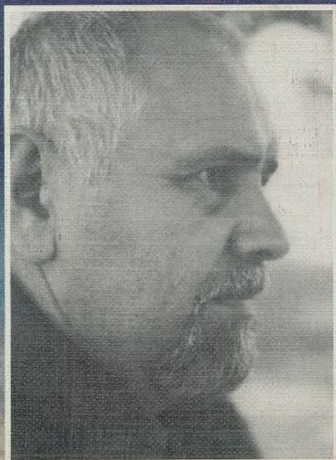


Редактор А. Г. Казакова  
Художественный редактор В. В. Быков  
Художник П. Л. Парамонов  
Корректор Т. П. Гуренкова  
Издательство писателей «Дума»  
191186, СПб, Б. Коношенная ул., 29  
Лицензия ИД № 05040 от 09.06.2001

Подписано к печати 27.06.2003. Формат 70х100/32.  
Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная.  
Уч.-изд. л. 10,1. Тираж 500 экз. Заказ № 112.

Отпечатано в типографии ООО «Бионт»  
199026, СПб, В. о., Средний пр., 86  
тел. (812) 322-68-43





Книга прозы ленинградского автора, ныне проживающего в США, согрета ностальгической любовью к той части нашего города, к Васильевскому острову, которая сформировала автора как человека и писателя. Написанные в различной стилевой манере, рассказы этого сборника отличаются психологически точным рисунком поступков и мыслей всех персонажей.

ISBN 5-901800-37-0



9 785901 800379

Санкт-Петербург  
Издательство  
писателей  
«ДУМА»